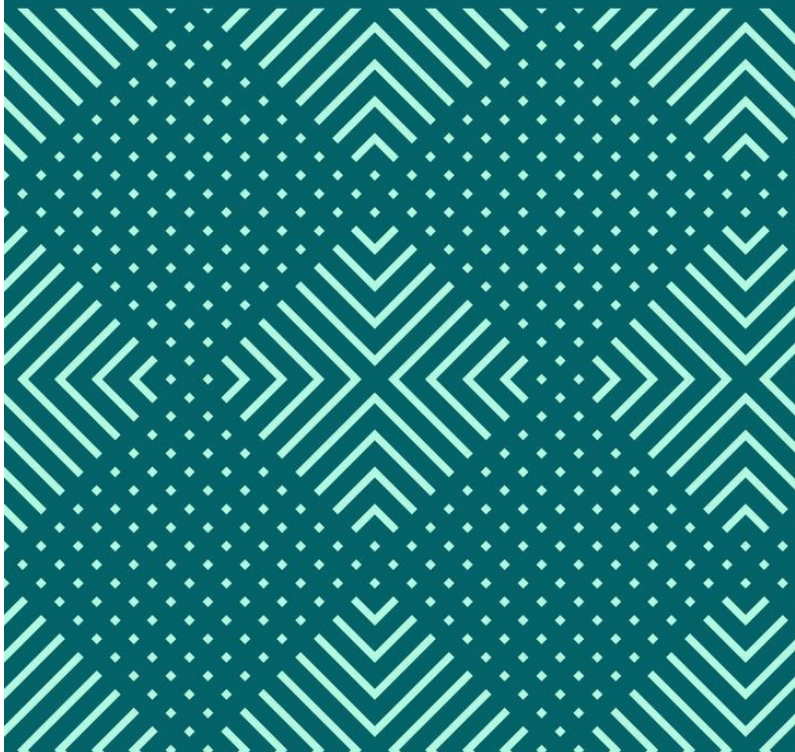


18+

Инна Николаевна Калабухова

Повесть о чтении



Инна Николаевна Калабухова

Повесть о чтении

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70780159

ISBN 9785006403994

Аннотация

«Повесть о чтении» – это увлекательная читательская биография автора, в которой личная судьба неотделима от истории поколения шестидесятников и тех головокружительных метаморфоз, через которые прошла наша страна на протяжении последних восьми десятилетий. Страсть к чтению – это история взаимной любви. Не только человек читает книгу, но и она – его, влияя на образ мысли и стиль жизни. Повесть Инны Калабуховой рассказывает о таинственной связи текста и читателя – нескучно и с большим знанием дела.

Содержание

Предисловие автора	5
Вступление	8
Часть первая	31
Глава I. До того, как...	31
Глава II. Рабочий городок	40
Глава III. «Новый Быт», или От трёх до восьми	57
Глава IV. Три месяца и три года. Что читали «дети войны»	133
Глава V. Сплошные отступления	163
Глава VI. «Наши» пришли, а «мои» пока не найдены	177
Конец ознакомительного фрагмента.	194

Повесть о чтении Инна Николаевна Калабухова

Ирина Александровна Родина *Редактор*

Благодарности:

Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и техническом содействии Союза российских писателей

© Инна Николаевна Калабухова, 2024

ISBN 978-5-0064-0399-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие автора

Книга «Повесть о чтении» не имеет определённого жанра. Что, кстати, нынче не возбраняется. Это какая-то смесь мемуаров и публицистики. Одновременно с претензией на беллетристику. Не всегда успешная. С внезапным авторским уходом в «размышлизмы»... По поводу... И без оногo...

Такой «винегрет», только малого объёма, более точный по стилю, но более неопределённый по целям, именуется в литературоведении «эссе». Но эссеистика подразумевает краткость. Пять-десять страниц... И автор переходит к новой теме, новой мысли... А читатель – к новым впечатлениям, настроениям...

Тут же наворочено до тысячи страниц... И все сценки из жизни автора, все его назойливые рассуждения долбят в одну точку, в одну глухую стену. Пожалуй, аналогию можно провести с каким-нибудь пособием, подспорьем для конкретной группы читателей. Например, с «Книгой для родителей» Макаренко. У него ведь тоже цель – обратить читателя в свою педагогическую веру, убеждая примерами из жизни...

Однако автор «Повести о чтении», абсолютно не претендуя на талант и авторитет Макаренко, вдобавок проигрывает ему с определённой адресата.

Если рассказ о внедрении книги в жизнь ребёнка, о несо-

мненной пользе чтения может заинтересовать молодых родителей, даже послужить руководством для определённых поступков... А вот попытка анализа творчества Диккенса? Литературные портреты, биографии Катаева, Паустовского?.. История превращения крошечной деревушки Кривощёково в многомиллионную столицу Сибири?.. Криминальные происшествия в мире библиофилов?.. Это для какого читателя?

Исправить это недоумение автор решает таким способом: разделить рукопись на две книги. Первую – рекомендовать «для родителей детей любого возраста, с двух до двадцати». То есть с ясельного до юношеского. Когда они «уже» и «пока» приучаемы, вовлекаемы, увлекаемы и наставляемы... Но также и «для детей с 13—14 лет без дальнейшего ограничения возраста». Чтобы они тоже вкусили авторского восторга от книг, погрузились в его сладкие воспоминания, впечатления, приключения библиофила.

Второй том – для читателей любого возраста, а также любого семейного и профессионального статуса. Но брать его в руки стоит при определённом условии. Будущий читатель (родитель он или прародитель, или даже пятнадцатилетний правнук) должен быть в какой-то мере библиофилом... Интересоваться историей литературы... Иметь определённый литературный вкус... Свои если не политические, то моральные, вполне отчётливые принципы. И хотя бы формирующееся мировоззрение. Тогда ему будут интересны взгляды,

вкусы, мировоззрение героев и авторов книг, о которых он прочтёт во второй части «Повести о чтении».

Может, у первой и второй части окажутся совершенно разные читатели (если сегодня они обнаружатся вообще). А вдруг кого-то привлекут обе части, невзирая на их разноадресность...

Но главное – читайте! Читайте настоящие, бумажные книги! И вы обретёте настоящее счастье! Проживёте необычайную жизнь!

Вступление

Я вернулась домой после двухмесячной отлучки. Как я мечтала попасть в собственную квартиру! Войти в эти до каждой царапины на полу, до каждой акварели на стене знакомые комнаты! Упасть в собственную постель, пусть даже несвежую, но свою! И лежать в ней без мыслей, без движения, без планов. Разве что с книжкой в руках. Или под щекой... С любой... С первой попавшейся, сдёрнутой с полки... Наконец-то свободная. Наконец-то без оглядки и регламента. Наконец-то без дела...

Но четырежды прокрутив ключ в замке и распялив во всю ивановскую дверь, чтобы протащить свой немалый багаж, я поняла, что мечты мои неосуществимы. Нет, осознание этого произошло не сразу. Сначала я шагнула во что-то вроде телевизионного парадиза, в мир светло-желтых стен, чудесным образом приподнявшихся потолков, убегающих прямо и направо, тоже светлых, дощечек ламината. И каких-то необыкновенно ярких светильников.

Это в моё отсутствие милостями моей дочери целая бригада строителей и сантехников преобразила мои так называемые «службы». Более подробно я рассмотрела все эти перемены позже, оценив все их громадные достоинства, и, конечно (известная гадюка), отметив, на мой капризный вкус, мелкие неудобства и просчёты...

А сейчас я повернула направо и двинулась в комнаты. Вот тут-то и поджидало меня разочарование?.. огорчение?.. Нет, это все мягко сказано... Настоящий шок!.. Я уже не говорю о том, что все мешавшее рабочим творить в службах свое благородное дело (типа холодильника, вешалки, полок для обуви, микроволновки, телефона и т. д.) они втащили в две ближайšie комнаты и кое-как распихали, поцарапав при этом двери, а, главное – чудесную синюю краску, которой незадолго до смерти муж покрыл пол в своем кабинете.

Безусловно, я понимала, что вытащить эти вещи из комнат, найти им подходящее место – дело нескольких часов. Помощники найдутся... Но грязь и пыль, которые налетели в комнаты, когда ломали стенку между туалетом и ванной и ликвидировали антресоль (вот благодаря чему образовались высокие, барские потолки, и вот почему тазы для варки варенья и чемоданы со старой одеждой громоздятся на письменном столе) ... Нет, как раз – пристроить тазы и чемоданы – решаемая проблема... Тем более – мытье полов, обихаживание стен, потолков, мебели. Но книги...

Я расхаживаю по комнатам, озираю фронт будущих работ, и уже только от моих шагов, конечно, достаточно гиппопотамских, но все равно только шагов, пыль со всех девяноста открытых книжных полок взлетает облачками, струйками, хлопьями. Стянуть же какой-нибудь из томиков для грядущего намечтанного чтения лёжа я вообще не рискну. После такого действия понадобится немедленно принимать душ.

А у меня для этого после дороги нет сил. Поэтому остаток дня провожу в собственной квартире с осторожностью десантника-разведчика: ступаю на цыпочках, стараюсь ни к чему не прикасаться. Пребываю, главным образом, в санузле и на кухне, где всё сияет чистотой и красотой.

Неожиданно обнаруживаю в холодильнике какими-то доброхотами припасённую для меня еду. Умывшись и подкрепившись, забираюсь в ту самую «собственную постель». Но без всяких книжек. Спать ещё не хочется. Остается лежать и планировать: каким образом и в какой последовательности буду я приводить в порядок свои книги и сколько это займёт времени. Безусловно, много. Потому что ни влажной тряпкой, ни пылесосом тут делать нечего. Вариант единственный. К нему я прибегаю раз в полгода, во время весенней и осенней генеральных уборок. За несколько дней до этого мероприятия кто-нибудь из домашних или помощница по хозяйству спускает книги с самых верхних, открытых полок. Этак штук пятьсот пыльных-препыльных набирается. А я их вытряхиваю в сумерки с балкона. Работа для старухи трудоёмкая. Укладываюсь в два-три дня. Потом чуть ли не неделю отлеживаюсь. Зато в книжках – ни пылинки.

Сегодня верхними полками не обойдёшься. Придётся трясти всю библиотеку. Открытые полки – точно. А может, и сорок закрытых. Это работа на месяц... Лежу, думаю, набираюсь сил... А главное – духу.

* * *

В реальности я приводила квартиру в порядок с помощью друзей и приходящей помощницы три месяца. Конечно, с промежутками, но небольшими. Трудов было гораздо больше, чем «перекуров». И главное время ушло на книги. Тем более что пользоваться открытым балконом оказалось невозможно: зарядили осенние дожди. И приходилось таскать пыльные кипы в лоджию не только из моей спальни, но из двух других комнат. Задевая за вдруг ставшие узкими и неудобными дверные проемы, спотыкаясь об мои любимые «паласы», в смысле – три куса дешевого ковровина, купленного мною двадцать пять лет назад по счастливой случайности... Так кстати к нашему единственному тотальному «от» и «до» ремонту. Каким он нам тогда казался роскошным! И как жалко теперь выглядят его остатки, особенно по контрасту с безупречным «модерном» коридора, служб и кухни.

Что-то уползаю я всё время то в ненужные подробности, то в давным-давно забытое прошлое. Это потому, что моё тело, мои руки, мои ноги до сих пор помнят, как я ползу по квартире к лоджии с книжками в охапке. Нет, охапками по шесть-семь я их носила недолго. Буквально через неделю так разболелась спина, руки, ноги, голова (эта-то от чего? от хлопанья пыльными томами друг о друга?), что пришлось сделать перерыв на несколько дней и подкрепить себя чтением лежа и болеутоляющими таблетками.

Отдохнув немного, я перешла к методике ношения по две книги: вынесла, похлопала, вернула в стопку чистых на сто-

ле. Однако, этот способ я отвергла через день. Стало ясно, что с ним я не завершу работу не то что за два месяца, но и за полгода.

Четыре средней толщины книги (если потоньше, можно шесть) – вот было одновременно посильно и продуктивно. На лоджии я укладывала стопку на карниз окна и вытряхивала в два приема. Потом – в обратный путь. Какие-то ещё у меня были в процессе уборки озарения рационализаторские. Что-то я подхватывала, передвигала. При этом работалось споро и – без особых трагических последствий (позвоночник, конечно, сел, но не сломался же).

А главное – ещё до наступления зимы на всех стеллажах стояли чистые книги, и в доме стало легко дышать. Да, вспомнила в чём заключалось мое «рационализаторство»: я несколько раз меняла периодичность ополаскивания под краном и способ развешивания на лоджии тряпки, которой я обтирала каждую «потрясённую» книгу.

И всё равно – несколько закрытых полок остались необработанными. Хотя, конечно, надо бы... Но уже исчерпан резерв сил и времени. Всё, сдохла!..

А ведь ещё предстояло навести элементарный порядок в комнатах. При этом, воспользовавшись ситуацией, выкинуть кучу ненужных вещей, которые десятки лет дожидались своей участи...

Но это всё опять не по делу. А дело в том, что перетаскав взад-вперед семь тысяч книг и попутно штук пят-

надцать-двадцать из них прочитав, я сделала настоящее открытие, которое собираюсь записать в эту тетрадь, отчасти чтобы окончательно его сформулировать, но главное – чтобы насладиться им повторно. Кстати, а как реагирует человек на свалившееся на него открытие? Вот увидел Менделеев во сне периодическую таблицу. Проснулся, изобразил её на ватмане (существовал в те времена ватман?) – и что?.. Стал размышлять о том, как облегчится теперь жизнь химиков и вообще всего человечества? Какие конкретные проблемы решит в ближайшие недели он сам с помощью таблицы? И как войдет она в повседневные будни не только элитных лабораторий, а школьников всех видов, наряду с таблицей умножения?..

Правда, моё открытие касается не прогрессивного человечества, и даже не его избранного круга, а лично меня... Но тем ближе к сердцу я его приняла... Буквально ощущала и осязала...

А началось всё со случайного пустяка... В одном из давно не открываемых шкафов обнаружилось странное, бессистемное книжное скопище: абсолютно новенькие, перестроечных времён книги соседствовали с томами изданного в 1904 году Шеллера-Михайлова, выпавшими из лопнувшего коленкора. И тут же ютились невзрачные, напечатанные на газетной бумаге книги военных лет. А вот случайные, разрозненные тома из каких-то подписок времени застоя. И роскошный, упакованный в футляр двухтомник «Га-

риков».

Образовалась эта мешанина постепенно из тех книг, которым я почему-либо не нашла точного места. Туда толкала двойники, пока не решила, кого ими осчастливить. А также книги почему-либо меня не заинтересовавшие (то ли выше моего разума философия, проблемы науки и техники; то ли – наоборот – простоватые или насквозь знакомые), но! связанные с воспоминаниями о каком-то человеке или каком-то событии. И у меня не хватило духа с ними расстаться. А иные появились в неподходящий момент, в суматошный час. Например, вручены в юбилей с кучей бытовых предметов и были сунуты в шкаф, чтоб освободить руки для объятий. И застряли там по забывчивости...

Но вот сегодня я туда залезаю, в это неудобное, редко посещаемое место, и обнаруживаю там довоенный «Юго-Запад» Багрицкого, о существовании которого я сто лет не вспоминала (томик более поздний и более полный стоит в главном шкафу, на видном месте). Но ведь именно «Юго-Запад» в пятьдесят четвертом году перевернул моё представление о поэзии. О! А вот «Рабы ГБ» Юрия Щекочихина, которую мне никак нигде не удаётся ухватить. И ведь смутно представляла, что мне её, кажется, дарили. И вроде, кто-то тут же перехватил «на недельку». А она вот где! Дождался Щекочихин своего... нет, моего часа.

И в Шеллер-Михайлова я, наконец, загляну. А то так и положится у меня в голове эта фамилия с чьим-то несмы-

ваемым клеймом – «писатель второго ряда». Пора бы составить и собственное мнение. Особенно сегодня, когда я уже знаю, как непросто достается насыпание (написание?) этих скромных холмов словесности, благодаря которым постепенно, шаг за шагом, меняется пейзаж литературы: нулевая равнина превращается в горные цепи – сначала Лескова и Панаева, потом в горные склоны Гончарова и Тургенева, чтобы увенчаться пиками Толстого, Достоевского, Чехова.

Впрочем, честно говоря, в тот момент никаким «мудрым размышлизмам» я не предавалась, а просто уткнулась в эти неожиданные находки. Которые вместе с десятком других, раньше не прочитанных книг (а я-то всегда хвасталась, что у меня в библиотеке их не больше двух-трех!) доставили мне целый месяц удовольствия. После трех месяцев тяжелой, неприятной работы (тоже неправильно сказано: тяжелой – да, а неприятной? Сколь было воспоминаний! открытий! радости! а даже если и огорчений, то всё равно по высокому поводу! всё равно – чувств, которых так не хватает! И с таким счастливым финалом).

Давно я так не читала: таким запоем, так разнообразно, совершенно без помех и отвлечений! Исключительно лёжа! Не лезьте с наставлениями, что это вредно! Восемьдесят пять лет читаю преимущественно лежа, а зрение не хуже, чем у людей. Не может быть вредно то, что делает человека счастливым! И постельное бельё наконец у меня было свежим. Даже из-под утюга, которым я последние годы стала

пренебрегать по лени. И сама я блистала чистотой, посещая ежедневно новую душевую кабинку. Жаль, что не смываются морщины и болячки.

Но главное!.. Главное... Это моё открытие... Которое мелькнуло во время многонедельной уборки. Которое подкрепилось всеми её обстоятельствами. Утверждалось моим упоительным чтением. Привело к погружению в детали собственной биографии. И, в конце концов, властно потребовало поговорить о нём с другими людьми.

Можно бы ограничиться узким кругом, но я уверена: по важным вопросам наши мнения с друзьями совпадают. Впрочем, лет двадцать назад об этой проблеме одинаково думало (когда думало) чуть не всё человечество. И вдруг всё отменилось, заменилось на свою противоположность. А я хочу не только вернуть к жизни то, старое, мнение, но придать ему силу закона, непререкаемость аксиомы...

Я совсем запутала терпеливого читателя своими недоговорками, намёками, эвфемизмами. Про это открытие... Обратимся лучше к событиям тех недель с их видимыми и скрытыми подробностями. Мелкими и крупными фактами...

Например, разглядывая в томиках Шеллер-Михайлова тексты с «ять» и «твёрдым знаком», я вспомнила, что впервые встретила эти буквы шестилетней девочкой в сказках Оскара Уайльда «Счастливый принц», «Преданный друг», «Звёздный мальчик». Перетряхивая остатки детской биб-

лиотеки (всего четыре полки, прочее расползлось по внукам и правнукам), я в который раз засокрушалась: куда, в конце концов, пропали мои любимцы и одновременно уникамы: «Кто?» Введенского, «Нелло и Патраш» Уйды и «Марсельцы» Гра? И одновременно порадовалась, что «Сердце» Эдмондо де Амичиса наличествует в двух экземплярах (56-го и 93-го годов издания) – один для детей Сашки, второй для вероятных детей Ильи. Расставляя в абсолютно непонятном мне самой порядке на книжной полке книги авторов 30-х годов – Леонова, Федина, Кина, Виноградова, Крымова, Макаренко, – погоревала, что «Города и годы» у меня не в том издании, не с теми выразительными иллюстрациями, из которого я в сорок шестом году знакомилась с Андреем Старцевым и Мари Урбах...

Но главное, с какой бы полки, из какого бы шкафа я ни тащила книги на лоджию (или не тащила, как ускользнувшую от пыли поэзию), какие бы ни читала при свете настольной (вернее, прикроватной) лампы, моментально вспоминались мне связанные с ними, с ней истории: покупка, разговор, впечатление. Или возникали неожиданные мысли по поводу конкретного тома. Или его автора. А то просто рисовалась сценка из прошлого: ночная переключка в очереди за подпиской на Бальзака; дискуссия (черт возьми, опять ночная!) между мной, Виталькой и Роговым по поводу «Брат мой, враг мой» Митчелла; а то вдруг разговоры мои о «Сирано де Бержераке», с Роговым – в своё время, с Генрихом – в своё.

И какие разные они были – и люди, и, соответственно, разговоры. Хотя речь шла об одной и той же пьесе. Но этими оттенками в восприятии такого далекого от нас Ростана и ещё более далекого де Бержерака, видимо, определялся мой выбор, будущая судьба...

И вот под воздействием этих воспоминаний, этих, казалось бы, бытовых подробностей, этих внезапных находок, этих маленьких потерь (где же вы, «Марсельцы»?) во мне зарождается, зреет и, наконец, окончательно формулируется то самое открытие.

Я осознаю, что все главные удовольствия в жизни я получила от книг, от чтения. Нет, сказать «главные удовольствия» – значит, ничего не сказать. От книг, из книг прямо и опосредованно, мне досталось абсолютно всё: знания (это уже расхожая истина, банальность – «Любите книгу, источник знаний»), самые разнообразные эмоции, в том числе такие, о существовании которых я даже не подозревала и вдруг их испытала. Книги приводили ко мне друзей (или меня к друзьям). Помогали мне их выбрать. Учили любить и дружить. Объяснили, в чем смысл жизни. Даже о самой себе я составила представление с помощью чтения. А уж долепливала себя точно по книжным образцам. Составляя в юности «План жизни» – по пунктам, по датам (в духе Госплана), приводила в качестве ориентиров конкретные названия авторов: Б. Горбатов «Обыкновенная Арктика», В. Кетлинская «Мужество». А потом уже в голове, не на бумаге,

вносила коррективы, опираясь теперь не на биографии персонажей и авторов, а на их дух, их мирозерцание. И выбирала в друзья, в учителя, в примеры для подражания Искандера, Володина, Бёлля.

А в какие необыкновенные события ввергали меня книги! Иной из них сам мог послужить сюжетом если не романа, то рассказа! А разве хватит места в этой тетради, чтобы перечислить все жизненные ситуации, в которых чтение помогло мне жить (а может, и выжить?). Но некоторые назову. От голода отвлекало (конечно, не уровня Ленинградской блокады, но от несостоявшегося обеда и непредполагаемого ужина – да!). От «несчастной любви» – первое средство! От одиночества, неустроенности – безусловно! В случае профессиональной неудачи – тоже хорошее утешение. Но и был совершенно забавный случай – никак не получалась серьёзная статья за подписью главного инженера завода по вопросам технического планирования. Горел номер, задерживалось назначенное обсуждение проблемы, рушилась моя репутация. И внезапно, как с неба, свалилась в руки статья? книжка? о тенденциях современного западного кино. От полной безвыходности, от ненависти к себе я в нее погрузилась, тем более читалось легко и увлекательно... дочитала ли текст? Не помню. И вдруг всё в голове сложилось, все проблемы заводские выстроились, зацепились одна за другую... Когда я потом этот феномен осмыслила, то поняла, что знаток западной кинематографии невольно для се-

бя и меня подсказал мне, как выстроить сюжеты, что из чего вытекает, зависит, чем что управляет. Законам композиции одинаково подвластны проблемы организации производства и коммерческого кинематографа... Нет, не так в лоб... Просто талантливый, умный текст сначала отвлек мои мозги, потом их прочистил – они заработали (заструились) в нужном направлении.

И это в абсолютно парадоксальной ситуации! В тривиальных же книги приходили на помощь постоянно. Чаще всего – получить высокую отметку на уроке, на экзамене, будучи к нему совершенно не подготовленным, но мобилизовав в памяти одну или несколько чуть ни в детстве прочитанных книг. Но и чувствовать себя уверенно в любом интеллектуальном обществе, понимать самые серьёзные разговоры и принимать в них, по мере необходимости, участие... Опять какие-то частности, какая-то пошлая практичность. А сколько ситуаций поистине приключенческих преподнесла мне любовь к чтению! Но всё же, всё же: главное – это постижение человеческой личности, неугасаемый интерес к ней. Разве не книги это во мне пробудили, поддерживали всю жизнь и продолжают поддерживать? И таким образом определили выбор занятия, деятельности. Получая столько удовольствия от чтения, я твёрдо решила никогда с книгами не расставаться – раз. Более того, подойти к этому источнику наслаждения с другого конца, другим способом – сочинять их, стать писателем.

Задумано было широко, смело, в довольно раннем возрасте. Осуществлялось медленно, методом проб и ошибок и маленьких удач. Но что выросло, то выросло. И я о своём выборе не жалею. Потому что главное в профессии литератора – не результат, а процесс.

Но удивительно другое. Сегодня, на старости лет, я поняла, что главная-то моя профессия не писатель, а читатель. Был во времена застоя известный анекдот, как на экзамене графомана из народа, задумав обеспечить его дипломом о высшем образовании, спрашивают: «Кто ваш любимый писатель?», ожидая получить в ответ «Пушкин» или «Толстой» – и заполнить, наконец, диплом, поставить печать. А экзаменующийся высокомерно отвечает: «Чукча вам – не читатель, чукча – писатель». Так вот я и любому экзаменатору, и вам, любезный читатель, и себе отвечаю: «Чукча – не писатель, чукча – читатель».

Но ведь так оно и есть. Читатель – это единственная профессия, которой я владею достаточно хорошо (хотела сказать «в совершенстве», но все таки усомнилась...). Но, во всяком случае, вот дело, которому я предаюсь с наибольшей охотой, которое мне никогда не надоедает, никогда не разочаровывает. Вы скажете, что это – не дело, не профессия, а развлечение, отдых, удовольствие. Но и в области развлечений тоже могут быть мастера, а у них – вершины достижений. В своих «Записках» (которые я как раз и перечитала с великой пользой для дела в эти месяцы) Екатерина II описывает на-

сыщенную, увлекательную светскую жизнь, которую организовывали профессионалы при дворе Елизаветы Петровны. И скуку, пустоту, идиотизм ничегонеделанья, воцарившиеся после её смерти, когда сценарии придворной жизни взялся сочинять любитель-режиссёр, к тому же психопат, Петр III.

Да, профессия – конечно, труд, создание ценностей. Но не только осязаемых, очевидных, таких, как продукты питания, одежда, машины, железные дороги, атомные ледоколы, но и оратории, симфонии, и даже – философские системы.

Профессией, например, безусловно, является управление государством. Поэтому более-менее продвинутые государи и старались подобрать для своих наследников надёжных наставников. Например, (обратимся к отечественной истории) Александру Второму достался в домашние учителя не более и не менее, как Жуковский! Стоп! Вот новая ниточка! Василий Андреевич был ведь не просто гуманный, образованный и мыслящий человек, но ещё и поэт!

То есть, безусловно, в качестве воспитательных средств пользовался литературой, книгами. А если учесть, что личным другом Александра Освободителя с юности стал и всегда оставался Алексей Константинович Толстой, то не влияние ли двух больших поэтов, не чтение ли хороших книг подтолкнули Александра Второго ко всем его реформам?

Хотя профессиональным читателем я его не назову (недостаточно осведомлена). Но даже если литература была толь-

ко его хобби, то способствующим профессиональным удачам.

А вот Екатерина Вторая, та, безусловно, была читателем-профессионалом. Я хочу подробно поговорить об этой личности, раз она мне так вовремя подвернулась под руку. Я бы сказала, мистически. Почему-то же именно ее «Записки» я вздумала перечитать во время уборки.

Она, конечно, была успешным государем (государыней?). И оставила заметный след в российской истории («Крым наш!», кстати, её заслуга). Вскользь отметим, что и по части придворных развлечений у неё было всё прекрасно, тем более что в написании их сценариев участвовала такая фигура, как Ломоносов. Да и сама императрица не лишена была литературно-режиссёрских способностей. Но я о другом!

Я уверена – своими успехами в управлении государством Российским – в экономике, в международных отношениях, в освоении Юга России и даже в осуждаемом сегодняшней историографией подавлении бунта Пугачёва – Екатерина была обязана тому, что с юных лет овладевала и овладела профессией «читатель».

Толкнули Екатерину к чтению, может быть, и житейские обстоятельства – она была заброшенным ребёнком. Но то, что она выбрала именно это утешение и занятие, свидетельствует о своеобразии личности. Да ещё ей повезло на встречу с графом Гюлленборгом, который обратил на девочку внимание, сказал, что у нее философский склад ума, который

требует детального исследования и который нужно питать самым лучшим чтением.

После чего порекомендовал Екатерине читать Плутарха, Монтескье и Д'Аламбера. Этих авторов девочка сумела разыскать, приложив серьезные усилия. И написала «Портрет философа в пятнадцать лет», в котором сделала попытку проанализировать свою личность. А Гюлленборг, прочитав рукопись, написал к ней дюжину страниц комментариев. О которых Екатерина пишет, что «они послужили к образованию и укреплению складу моего ума и души».

Во всяком случае, после странного её замужества девять мучительных, унижительных лет жизни в России она превратила в сплошное чтение. Пока двор Елизаветы Петровны наряжался, веселился на маскарадах, в поездках, пока великий князь Пётр играл в солдатики, молодая одинокая женщина читала, читала, читала в своих покоях, в случайных приютах на выездах, в карете. Про изучение русского языка, обычаев, истории я не говорю. Оно было упорно и успешно. Имело совершенно конкретную и практическую цель. Но громадный объем чтения перехлестывал узкую целесообразность. Екатерина читала каждую свободную минуту (их было достаточно), изыскивала источники литературы. (В «Записках» под грифом NB читаем: «В Вильне, в библиотеке Св. Троицы довольно древностей, касающихся до истории Российской находятся», «В большой Кабарде в горах церковь христианская стоит цела..., в ней сказывают, много книг греческих нахо-

дится».) А в хронологических описаниях российской жизни чуть ли не через три-четыре страницы Екатерина упоминает то о прочитанном Плутархе, то рассказывает, как целый год читала одни французские романы, но, случайно «напав» на письма госпожи де Севинье, а потом на Вольтера, стала искать книги с большим разбором.

Но она же не просто эту отборную литературу читала. Она её... рецензировала, анализировала. Причем письменно. К «Запискам» приложены «Заметки» на книгу Струбе де Пирмонта, в которых Екатерина защищала Монтескье от автора, и на книгу аббата Денина о Фридрихе II, где она также вступает в спор со многими мнениями аббата. Ещё интересней «Извлечения из чтений», в которых Екатерина выписывает явно для себя из Монтескье, Д'Аламбера и Тацита мысли о государстве, законотворчестве, личности правителя, которые считает мудрыми, но и те, которые наводят её на размышления.

И вот в результате такого запойного чтения, когда Екатерина взошла на престол, она не только успешно справилась со своими государственными обязанностями, но, вступив в переписку с французскими просветителями (хороший выбор, хороший вкус!), показала себя настолько образованной, умной, что они, включая язвительного Вольтера, сочли эту переписку для себя полезной и интересной.

А также следует отметить, что, обретя власть, Екатерина из читательницы, пусть даже и выдающейся, превратилась

в активную участницу российской литературной жизни. Она не только знала, что в этом мире происходит, но общалась, как сейчас бы сказали, сотрудничала с самыми крупными фигурами: Державиным (он был ее статс-секретарем), Капнистом, Сумароковым, Новиковым. К сожалению, нет у меня уже сил и времени разбираться в подробностях её личного участия в новиковском «Трутне» (да и цель у меня другая). Но в тех же «Записках» есть психологический портрет Елизаветы Петровны, который сделал бы честь профессиональному писателю.

Да и в биографии Екатерины-государыни много поступков, которые своей правильностью и своевременностью наводят на мысль, что подсказаны они примерами из мировой истории и знанием человеческой психологии, почерпнутыми из книг. Мне, например, таким кажется её умение сохранять дружбу и сотрудничество с бывшими фаворитами. (Вот бы поучиться всем разводящимся супругам у них с Потёмкиным). А как быстро и безошибочно она разрушила предубеждение всего российского общества против вакцинации, сделав прививки от чёрной оспы себе и маленькому сыну. Впрочем, это была ещё не дженеровская вакцинация. А всего лишь инокуляция – внесение здоровому человеку гноя из папулы больного. Но лиха беда начало, тем более – увенчавшееся успехом.

Но, может, я не тем примером увлеклась. Могла бы выбрать что-нибудь посовременней – и, заглянув в мировую ис-

торию и даже просто оглянувшись на круг своих знакомых (что я ещё сделаю), назвать сотни, тысячи одержимых читателей, в жизни и судьбе которых книги сыграли важнейшую роль, были учителями, руководителями, вдохновителями, оружием, инструментом. Но я хочу из этих фактов и примеров сделать вывод ещё более кардинальный. Профессия «читатель» не только привлекательна и полезна. Она – насущна, и ею обязан овладеть каждый. Независимо от того, что в дипломе и трудовой книжке записано, – и профессор, и дворник, и мореплаватель, и плотник. Конечно, оттенки и уровни владения этой профессией у них будут разные. Вкусы и направления – тоже. Но уровень не ниже третьего разряда. А обязанность – как сдача норм ГТО.

И это не я и не сегодня придумала. Когда в XVIII—XIX вв. зарождалась, внедрялась в умы, осуществлялась идея всеобщего обязательного образования, то, начиная с простейшего – ликвидации неграмотности, она как раз имела конечную цель: приобщение человечества ко всему массиву культуры, накопленному за тысячелетия, к развитию с помощью чтения нашего мозга до высшего предела его возможностей, к совершенствованию нашей нравственности, расширению эмоционального мира на литературных образцах.

И представьте, неплохо удавалось – в том числе используя достижения предшествующих эпох. Во-первых, благодаря Гутенбергу. Во-вторых, усилиями титанов Возрождения. И, наконец, в ходе длительной, пусть путаной и сложной, ис-

тории установления всех видов демократии. Человек, который тысячи лет становился прямоходящим, столько же, если не дольше – говорящим членораздельно, потом – пишущим (это все тысячелетия!), за какие-то двести-триста лет стал читающим! Казалось бы, чтобы стать всему человечеству профессиональным читателем, нужно на каких-нибудь 30—50 лет дружно, весело, радостно окунуться в книжный мир и, сочетая приятное с полезным, освоить это море разливанное. Но, оказалось, что сделать это сегодня труднее, чем в средние века, чем в эпоху Возрождения, чем даже в XX веке при поголовной грамотности.

Если благодаря Гутенбергу книги потекли в массы сначала робкими ручейками, потом читаемыми и почитаемыми реками и стали в конце концов фундаментом, столпами мировой культуры, то в начале XX века – кино, в середине – телевидение, а в конце и особенно сегодня, в XXI веке, интернет отвлекает, увлекает, заманивает человечество в свои объятия. Более того, владельцы и пользователи компьютерных сетей уверяют, что интернет уже овладел большинством человечества, что читают бумажные книги, собирают личные библиотеки только считанные чудачки или задевшие альцгеймером старики. Что постепенно все книги перекочуют на помойку, освободив сотни километров полезной площади. А если кому-то понадобится всё, что написано человечеством, то его можно будет вывести на экран одним нажатием кнопки, прочитать одним глазом и вернуть в утробу

удобному гаджету.

Порочная, лживая конструкция! Её ещё в зачаточном состоянии в годы победоносного нашествия телевидения убедительно, казалось бы, развенчал Брэдбери («451° по Фаренгейту»).

Но рано торжествовали любители чтения! Теперь у врагов бумажной книги появился новый могучий союзник – вездесущий и действительно безгранично полезный интернет, без которого сегодня не обойтись ни в одной отрасли человеческой деятельности. И с его помощью, в частности, упростилась, облегчилась вся процедура оформления книги, набора, печатанья рукописи, контакта между автором, редактором, корректором, распространение тиража. А люди других специальностей назовут ещё тысячи процедур, выполняемых интернетом.

Но как бы ни был он могуч и вездесущ, уверяю вас, книгу ни он, ни какие-то новые технические и биологические перевероты (включая фантастическую передачу мыслей на расстоянии) не заменит.

И я решила, что должна, обязана доказать это вам, любезный читатель. На собственном жизненном опыте. Который, мне кажется, заслуживает изучения. Потому что он очень велик – восемьдесят пять лет, но одновременно принадлежит достаточно объективному человеку. А ещё я отношусь к совершенно уникальному сообществу, поколению читателей, которое выросло и сформировалось в особое время, в осо-

бом месте, особым образом.

И поэтому если бы читателям давали разряды и звания, то мы, дети войны, почти все оказались бы «мастерами чтения». Или читателями шестого разряда.

Итак, приступаем.

Часть первая

Глава I. До того, как...

Знакомство с книгой у меня началось очень рано, ещё до трёх лет. Считаю, что повезло. Тут перестараться невозможно. Но – всё по порядку.

Про первые два года своей жизни я не помню абсолютно ничего. Заменяли память рассказы бабушки и мамы про девятиметровую комнату в коммунальной московской квартире. Про нянюшку Шуру, которая панацеей от всех детских болезней считала тертые яблоки. Про то, как Юрий, мамин брат, проезжая из Ростова на практику в Редкино и обратно, останавливался у нас на пару дней. Спал при этом на обеденном столе. А первая сказанная мною фраза месяцев в одиннадцать была – «Сит агился», когда отец щелкнул выключателем. И подмосковная Перловка, в которой мы прожили лето тридцать четвёртого года, в детском сознании не отразилась. Но я знала, опять же по воспоминаниям моих женщин, что место было чудесное, а главное – там я в год и два месяца встала на ноги и пошла. В Москве то ли рахит мешал, то ли отсутствие свободного пола. Значительно позже, из каких-то реплик матери, из старых писем отца в её архиве, догадалась, что именно московская теснота, неустроенность спровоци-

ривала первые их ссоры, взаимное раздражение. А как выход из этой ситуации явилось ставропольское предложение.

Отца приглашали на какую-то хорошую научную должность в штате недавно открытого противочумного пункта. (Это после успешной ликвидации эпидемии чумы с его участием. И именно по предложенным им профилактическим мерам.) Матери тоже находилась работа. А главное – предоставлялась квартира. Двухкомнатная. В саду! Весь комплекс, и служебный, и жилой, помещался за городом, в саду.

И вот Ставрополь – первое место, в котором я узнала о существовании мира и о своем бытии. Даже никакой дороги, поездки не помню. А вот эпизоды ставропольской жизни: летние, весенние, осенние – возникают один за другим, но без всякой хронологической последовательности. Их разнообразные сюжеты создают картину быта, рисуют портреты действующих лиц. Причем своеобразную.

Удивительно, что членов моей семьи: мамы, бабушки, отца – в них нет или они находятся на втором, на третьем плане, как статисты. Бросились в глаза, зацепились именно чужие, новые лица. Периодически появлялась на нашем участке старуха-нищенка, которой я боялась панически, убегала с криком, пряталась. Пугало меня её уродство: у неё не закрывался рот, из которого висел язык. В сочетании с морщинистым лицом, невнятной речью, чёрными лохмотьями – действительно страшное впечатление.

Зато были и приятные встречи, может, и более частые, –

с Ёфом и Магалитой Петовной (Илья Григорьевич Иофф – заведующий противочумным пунктом, Маргарита Петровна Покровская, его жена, – микробиолог). Уверена (во всяком случае, предполагаю), что эти встречи сопровождались комплиментами в мой адрес, а то и какими-то угощениями. Фоном почему-то помнится не комната, а веранда или лестничная площадка. Второй этаж?

А вот отдельная сценка – во дворе: семейство Иоффов, ещё какие-то люди, много (мои родственники, другие сотрудники?). Все шумят возмущаются: «Украл белок!..» Так я запомнила. И подрастая, погружаясь памятью в ставропольские времена, все пыталась сообразить: откуда белки? что за белки? И только школьницей, заговорив с мамой об этом странном воспоминании, получила разгадку: ночью, выдавив дверь, кто-то похитил из вивария подопытных морских свинок.

Почему они в моей памяти превратились в белок? Может, потому, что я в этом возрасте не только никогда морских свинок не видела, но и слыхом о них не слыхивала. А почему меня никто в виварий не сводил? А вот откуда я про белок знала? Из каких-нибудь детских книжек? Но я ни одной книжки, даже просто где-то лежащей, в Ставрополе не помню.

Зато помню, как группа взрослых, в том числе мама (сотрудники?) уезжает в город на демонстрацию, а мы (бабушка, я, другие дети) вышли их проводить за ворота. Они по-

едут на телеге... Наверное, дело происходит первого мая – тепло, солнце, но ветрено.

А вот опять какая-то разношерстная компания. Все собрались под большим кизилевым деревом. Стол, заставленный посудой, каким-то угощением, взрослые, скучные разговоры. Но одновременно женщины, отвлекаясь от беседы и трапезы, то одна, то другая, то третья подбегают к большому тазу. В нём на открытом огне (я эти язычки вижу и сейчас; костёр? очаг?) варится варенье из кизила, с того самого дерева, под которым мы сидим.

Об этом воспоминании я никого не расспрашивала, но считала его тоже каким-то фантомным, вроде истории с белками. Положим, кизилевое варенье женщины противочумного анклава могли варить. Но сидеть под кизилевым деревом? Я в детстве и юности десятки летних месяцев провела на Кавказе и в Закавказье в самых различных местах. Бродила по кизилевым зарослям в горах и на побережье, объедалась терпкой ягодой. Покупала одомашненный кизил у хозяев съёмных квартир. Выскакивала из вагона на обратном пути в Ростов, чтоб купить этой вкуснятины именно на варенье (даже ведерком пластмассовым запаслась). И твердо знала из своего жизненного опыта: кизил растет на кустах. Высоких, густых, с обильными, сочными листьями. Но с устремленными вверх, абсолютно не раскидистыми ветками. «Сидеть» под сенью «кизилевого дерева» невозможно. Такого не существует в природе.

Эта путаница, по меньшей мере, в двух местах ставропольских воспоминаний заставляла усомниться ещё в одном, довольно эмоциональном. Мы (я и какие-то дети; чьи? других сотрудников?) убегаем... от сторожа! Мы, видимо, совершили что-то противозаконное... Нарвали... каких-то груш?.. слив?.. На территории противочумного пункта действительно много фруктовых деревьев. И что? Держали специального сторожа? Но, может, не для фруктов. Для имущества? Что же он морских свинок не уберёт? Но вот этот страх совершённого преступления и наступающего возмездия впечатались в меня абсолютно отчётливо. А моя дополнительная вина заключается в том, что в свои два с чем-то года я не могу бежать быстро, спотыкаюсь, падаю, меня тащат за руки, в какой-то момент чуть ли на руках. Мы карабкаемся по какой-то лестнице (они карабкаются, а я их задерживаю). Какая лестница? Квартира Иоффа была на втором этаже центрального строения. Но не у него же мы собирались укрыться? Очередная ложная память...

И вдруг шестьдесят с лишним лет спустя мои двухлетние воспоминания были реабилитированы. В девяносто седьмом году в Магри (уже внуков туда возила) ... нет, в двухтысячных в каких-то окрестностях Ростова вижу я самое настоящее кизилковое дерево... Не дуб раскидистый, конечно. Но вполне приличное дерево, метра два с половиной, с хорошим полугоризонтальным шатром веток, под которым и стол можно поставить, и компанию усадить. А чтоб ника-

ких сомнений в породе растения у меня не возникло, все его ветки усеяны крупным кизилом в самом соку. Пожалуй, он несколько иной формы, чем я когда-то обрывала с кустов. Кончики не заострены, а в виде некой шишечки. Может в этом и заключается отличие древесных плодов от кустовых? Но ведь в тридцать пятом году в Ставрополе я на кизил и не взглядывала. Только слышала реплики: «Пойдем посидим под кизилом»... «Ягода ещё не уварилась»...

Зато теперь я могу надеяться на достоверность всех ставропольских воспоминаний. Даже такого экзотичного: я бегу из нашей квартиры к центральному строению. На втором этаже которого живут Иофф и Покровская. Но мне надо на первый. Толкаю дверь, сбрасываю у порога сандалии. Посреди комнаты, на полу – матрац. На нём под каким-то лоскутным одеялом спят два мальчика лет девяти-двенадцати. Я с разбегу в них врезаюсь, заползаю под одеяло, тормошу их, щекочу, визжу. Они просыпаются мгновенно и встречают меня весьма дружелюбно. Завязывается «куча мала»... На шум из-за занавески выходит взрослая женщина. Как её зовут? Я обращаюсь к ней по имени – отчеству? Или, скажем, «тётя Валя»? Абсолютно не помню. Она говорит сыновьям строго: «Серёжка, Петька, умываться! А ты теперь Милку буди!» (Это уже мне.)

Мальчишки отправляются (в кухню, во двор?). А я бегу к небольшой деревянной кровати под окном, в которой спит, невзирая на шум, девочка пяти лет. Ловко перелезаю

через решётку и обрушиваюсь на неё всем телом. Новая возня и визг. На нас набегают Милочкины братья с пригоршнями воды из-под умывальника, и всё завершается общим ликованием, а потом – завтраком.

Эта сцена находит полное подтверждение и разъяснение в бабушкиных рассказах о ставропольской жизни. О семье бухгалтера, в которой было трое детей (пятилетняя Милочка вполне годилась мне в подруги; а кто-то из её братьев мог тащить меня на руках, спасаясь (спасая?) от сторожа. Кстати, вдруг сегодня возник вопрос (ответить только некому): а кто был бухгалтером противочумного пункта (наверное, не пункта, а станции. Раз была своя бухгалтерия, вагон-лаборатория, такое изобилие специалистов эпидемиологов-микробиологов; ещё мой отец понадобился!) Так вот, бухгалтер – мать Сережки, Петьки и Милочки? Или их отец, который в моих воспоминаниях не встречается. А он существовал? В тамошнем, тогдашнем пространстве?

По социально-историческому раскладу тридцать пятого года вряд ли мать троих детей в глухой провинции могла исполнять ответственную, требующую специфических знаний должность. Бухгалтером, конечно, был её муж. И пребывал он в служебных сферах. Пока я общалась с его детьми. А бабушка – по-соседски с условной «тётей Валеёй». Для бабушки, скажем, Валентиной Ивановной (Петровной?). Так вот, бабушка эти отношения ценила не только за нашу с Милочкой дружбу, но за эти самые «завтраки». Потому что я, как

всякий единственный, обожаемый, без конца пичкаемый ребенок, была отвратительно капризна в еде. А вот в чужом доме, в большой компании – мела всё подряд. Да и от бабушкиных изысков не отказывалась, если со мной обедали или ужинали бухгалтерские дети. И всё это бабушка, по её позднейшим рассказам, поставила на договорную дружескую ногу. И подкрепила не раз какими-то натуральными подношениями из наших запасов к соседскому столу.

Однако воспоминания о моих визитах в эту чужую квартиру полны такой радости, такой взаимной симпатии, что я категорически отвергаю присутствие корысти с чьей-либо стороны. Просто взаимопомощь, взаимовыручка при некоей разнице менталитетов, странностях соседских привычек.

Ну, вот и всё про Ставрополь. Про эти первые постижения мирового (вернее дворового) пространства, возникновение первых чувств, впечатлений. Мыслей?.. Не уверена! В качестве завершающего штриха – поездка из Ставрополя в Ростов в вагоне-лаборатории, которой моя мама уже не заведовала, так как уволилась и мы меняли место жительства. Но по старой дружбе (памяти) её перевозили с семьей попутным служебным рейсом. Этот странный, оборудованный, как комната, вагон. Эмалированный таз для умывания, синий снаружи, белый внутри. Две ночи в пути. Мы с мамой спим вместе на её служебном ложе. Бабушка – на постели лаборантки. Я всё это воспринимаю как приключение, которое завершается на ростовском вокзале, где встречающий

нас Юрий сразу подбрасывает меня к небу. И с этого момента начинается новая, другая жизнь.

Глава II. Рабочий городок

В Рабочем городке (окраина Ростова) мы прожили, ожидая обмена московской комнаты на жильё в Ростове, примерно столько же, сколько в Ставрополе. Но впечатления совсем другие. И качественно, и количественно. Можно объяснить это тем, что я на полгода повзрослела. Но я убеждена – причина иная. Именно тогда появился в моей биографии, в моей судьбе, в моих буднях и праздниках этот катализатор, который в дальнейшем и по сей день организует, ускоряет, усложняет, (а если надо – упрощает), но всегда – украшает жизнь.

Но сперва о чисто зрительных впечатлениях, эпизодах, застрявших в памяти, наряду со ставропольскими (вернее – вслед за). Новые лица, хозяева домика, в котором мы снимаем комнату: Надежда Захаровна и Феликс Викентьевич. Необычные, но подходящие к их очень индивидуальному облику имена, благодаря чему сразу запомнились. Она – с седой короной кос. Он – с ярко-синими глазами и ореолом седых кудрей вокруг блестящей лысины. Их пес Букет, крупная собака на цепи, которой следовало опасаться, что я и делала. А вот Юрий шагнул к ней сразу, раньше, чем его успели предупредить. И Букет, как родному, положил лапы дяде на плечи и лизнул в лицо, ко всеобщему удивлению и восхищению.

Комната наша понравилась мне сразу: светлая, уютная, удобная (хотя таких понятий, а тем более слов, я ещё не знала). Но – хорошая! И большая! Так я чувствовала. И, наверное, была права. Мы ведь жили в ней вчетвером и все довольно комфортно размещались. Впрочем, что я знала о комфорте в неполных три года? Главное – все меня любили – поэтому мне и пространство, и удовольствия были обеспечены. А на новом месте – и новые впечатления.

Что из них удержала память? Вид из окна (окон?) – осенний, зимний. Значит, переезд из Ставрополя состоялся осенью. Большое, пустое поле. Его пересекает трамвайная линия. Парные вагончики появляются редко. А я их приезда жду – на них прибывают из Ростова мои домашние. Днем – бабушка, ходившая за покупками. К вечеру – мама и Юрий. Если бабушка отлучается надолго, со мной приглашают «посидеть» мальчика Колю. Лет, наверное, десяти-двенадцати. Соседского? Знакомого? Никаких его родных не видела. Или не помню. А где он жил? Ни один дом по соседству с нами не просматривался. Из окна, во всяком случае. Чем мы с Колей занимались речь впереди.

Сейчас об одной необыкновенной прогулке с мамой. Вечером, в полной темноте. Только при свете луны. И в жуткую слякоть после вчерашнего или позавчерашнего ливня. Тогда я впервые взглянула на небо, узнала о существовании луны, а мама показывала и называла мне созвездия: Большую и Малую Медведицу, Полярную звезду, Плеяды, Кас-

сиопею (нет, это я сегодня фантазирую; показывала она мне, может, и больше, но кроме Медведиц навряд ли я что-то восприняла и запомнила; а вот, как в этой жуткой грязи завязла и потерялась моя калоша, и что сказала по этому поводу бабушка, помню отлично; не слова, а интонацию).

Ещё один эпизод из жизни в Рабочем городке: какие-то друзья по фамилии Бируля, которые приезжают к нам в гости из Ростова. Целая семья: муж, жена и сын Никита, мальчик на год-полтора моложе меня. Делать с ним абсолютно нечего. А может, не из Ростова они приезжали? Потому что когда, наконец, мама поменяла московскую квартиру и мы переехали в «Новый Быт», эти Бирули вселились на наше место, к Надежде Захаровне и Феликсу Викентьевичу. А потом уже мы несколько лет наносили им визиты из Ростова. Никита подросток, и мы с ним подружились.

А вот действительно выдающееся событие – наша поездка в город на том самом трамвае. Долго (по моему впечатлению), неисчислимо количество остановок. В действительности восемь-десять. Вылезаем возле «Магазина с колоннами». Так это место, эта остановка в районе Центрального ростовского рынка называлась ещё много лет вперед. Магазин с колоннами – цель нашего путешествия. Вернее цель – встреча с бабушкиной подругой, тётёй Женей, которая работает в магазине кассиром. Безусловно, важная персона. Может, самая главная. Сидит в специальной застеклённой будочке в центре зала, среди обилия разных красивых, цен-

ных вещей. В том числе – игрушек. К ней все обращаются. Она крутит ручку блестящей штуки, которая сначала урчит, а потом щелкает. В промежутках между этими важными действиями тётя Женя разговаривает с бабушкой и ласкает меня. Перед нашим уходом она отлучается из будочки на несколько минут и возвращается с великолепным белоснежным игрушечным зайцем. Нет, зайчихой, судя по пышной, в зеленую клеточку юбке. Бабушка игрушку осматривает, они о чём-то совещаются, какими-то бумажками обмениваются. Урчит и щелкает волшебная машинка тёти Жени. И явно с её соизволения, распоряжения я становлюсь на много лет владелицей этой роскошной игрушки, которую буду любить и в её великолепии, и когда она обветшает, когда загрязнятся ее белоснежная мордочка и лапы, обвиснут уши, оторвётся и потеряется юбка, в результате поменяется пол, зайчиха станет зайцем. А я всё буду любить его, и в пять, и в семь лет. И до войны, и во время войны. Хотела сказать – и после... Но вспомнила, что, уехав в июне сорок пятого в Москву и вернувшись в ноябре сорок шестого, я своего старого друга не обнаружила. А с ним улетучились последние воспоминания о Рабочем городке...

А вот, оказалось, не улетучились... Эта россыпь фактов, событий, картинок, которые я сейчас перечислила, где-то же она хранилась. В памяти? В душе? И как только дёрнула за веревочку, дверь открылась и они посыпались на бумагу. Вернее, я вошла в эту комнату моего раннего детства под

названием «Рабочий городок»... Опять не так... Перестану обращать внимание на логику и композицию текста. Сообщу в лоб, почему тянет меня в это место, в эти месяцы. Не биография, не география. А то, что именно тогда и там вошли в моё существование совершенно новые предметы, новые понятия, вокруг которых разрозненные эпизоды, кусочки нашей, моей жизни сгруппировались, приобрели собственный смысл, адекватную цену. Превратились из случайных, непреднамеренных, заваливавшихся любительских снимков в нечто вроде крошечной, но уже киноленты, попытки документального фильма. Это осмысление происходящего вокруг меня, соединение разрозненных кадров в последовательный сюжет я безоговорочно отношу на счет появления в нашем доме книг. И такого времяпрепровождения, как чтение. Нет! Долой слово «времяпрепровождение»! Такого удовольствия! Такого счастья, как чтение!

...Увы, поздно затеяла я эти разборки! Абсолютно не у кого спросить: а что, действительно до Рабочего городка мне ничего не читали? В нашей, безусловно, расположенной к литературе семье? Но почему же ни в одной из ставропольских сенок, эпизодов нет ситуации, где бы я сидела рядом с читающим мне взрослым. Более того – нет просто лежащей, стоящей где-нибудь книги. Между тем я уверена, что сюжеты «Колобка» и «Курочки Рябы» я откуда-то в это время знала. И помнила, что «придёт серенький волчок, схватит детку за бочок». И про сороку-ворону, которая кашу вари-

ла, деток кормила. Остаётся предположить, что эти потешки читали мне в Москве и «чудесной» Перловке, а в Ставрополе, в который мы всё «переезжали», «устраивались», да так и не устроились, закончив «переезд» родительским разводом, мои женщины просто пересказывали мне все эти «Гуси, гуси га-га-га» и «Жил-был у бабушки серенький козлик»... Потому что ни книг под рукой, ни свободного времени у них не было. А может, другая объясняющая схема, причина существовала? Чертёж утерян. Архитекторы и строители ушли в мир иной.

Но вот образовалось у нас постоянное место жительства, и книги появились сразу. Главным их поставщиком был, однозначно, Юрий. Как наиболее активный по молодости член семьи? Или свободный от бытовых забот? Но главное, по моему, всегда склонный не только к чтению, но и собирательству книжек. Хотя у него в тридцать пятом году и собственного дома нет. И появится он нескоро, десять лет спустя. Да и семейное наше пристанище – временное, съёмное. Однако в предвоенные годы стояли на этажерке в «Новом быте» с факсимиле Юрия юбилейный однотомник Пушкина, однотомник Маяковского, «Как закалялась сталь» и сакраментальный первый том Оскара Уайльда.

А в Рабочем городке Юрик покупает книги для меня. Какими чувствами он руководствовался? Родственно-педагогическими? Молодой дядя (ему двадцать лет) нежно любил меня и всегда готов был, хотел со мной общаться, открывать

передо мной мир. Но, может, попутно, косвенно утолялась им и эта потребность – покупать, собирать книги? Не вызывая упреков в несвоевременных тратах. Но что теперь рассуждать на пустом, остывшем месте?

Факты таковы: дядя ежедневно ездит в город на работу (грибковая станция) и если не через день, то через два-три привозит для меня книжку. И каждая из них – событие в моем существовании. Этот предмет (опять неправильное слово!) ... эта субстанция... это происшествие (подходит...) устанавливает некие особые связи, регламент, ритм, атмосферу в нашем мире. Когда я вспоминаю комнату в Рабочем городке, то книга там обязательно присутствует. То я сижу на маленьком бамбуковом стульчике и слушаю, как мне читают. Чаще всего бабушка. Охотно, азартно – дядя. Очень редко, но с удовольствием – мама. Вяло, отвлекаясь, но все равно мне в радость – мальчик Коля.

А вот – открывается дверь и в комнату, размахивая покупкой, входит Юрик. Я лечу к нему навстречу, выхватываю книжку, распаиваю... Или – интерьер нашего жилища. Обеденный стол в центре. Две застеленные кровати. Куцая кушетка. Выглядывающие из-под них чемоданы. Любимая зайчиха развалилась на подушке. Но рядом с ней на кровати... Или на столе... Раскрытая на половине... Или только что закрытая... Но обязательно – книжка.

Я их помню со всеми подробностями. Все... Или почти все... Первая (вероятно, первая, уж больно подробно пред-

ставляю) – «Приключения Макарки». Квадратная и, по моему суждению, большая. В плотной картонной обложке. Снаружи и внутри – сплошные синие картинки, изображающие необыкновенные приключения, ситуации, в которые попадает обезьянка по имени Макарка. Под картинками, а то и прямо на рисунках напечатан текст, стихотворный. Я на него пока не смотрю. Зачем? Мне его читают, я слушаю. Полагаю замечательным. Оценка проверке не подлежит – не помню ни единой строчки, не знаю фамилии автора. Больше в жизни мы не встретились. Но это первая книга, которую запечатлело моё сознание. Которую осязали, перелистывали мои руки, рассматривали глаза. А я повторяла про себя запомнившиеся строчки? Отдельные слова?..

Через какое-то время возникает «Телефон» Корнея Чуковского. Тоже большая. Каждый разговор – на отдельной странице, даже на двух. На одной – автор с разными выражениями лица – удивленным, возмущенным, радостным. На другой – слон, медведь, мартышки, газели... И стихи – такие точные, весёлые, ладные. Запомнились сразу. Видимо, уровень таланта Чуковского и автора «Приключения Макарки» был разным.

Но самое сильное впечатление из книжек такого рода (в смысле – сказок в стихах) произвела корниловская «Как от мёда у медведя зубы начали болеть». Размер книжки примерно такой же, но не квадратная, а прямоугольная. А ещё – очень пестро и выразительно иллюстрирована. Эти

ярко-жёлтые ульи с нахлобученными крышами. Компания чёрных кротов, трудолюбиво копающих огород в поисках золота. Дятел в красной шапочке, удаляющий гнилой зуб у медведя. И, наконец, счастливый, пляшущий медведь, изо рта у которого бьют золотые лучи. Корниловские стихи запали мне в душу с первой до последней строчки навсегда. Так что детям, а потом и внукам я могла рассказывать историю про медведя-сладкоежку наизусть, если книжки Корнилова не оказывалось в нашем доме в нужный момент.

Ещё очень нравились мне толстовские «Три медведя». Правда, в простой бумажной обложке, зато с картинками Васнецова. И с этими интонациями голосов Михайло Ивановича, Настасьи Петровны и Мишутки, которые старательно изображали все мои читчики. Может, за исключением Коли.

А ещё была тоже лёгонькая, в бумажной обложке и поменьше размером, но опять же квадратная, книжка, названия которой я не помню. Это был совершенно особый жанр – продукт молодой социалистической культуры, журналистики для детей дошкольного возраста. На двадцати – двадцати четырех бледно-розово-жёлтых страницах описывалось, как мама привела определять сына в «очаг» (так тогда назывался детский сад). И пока мама оформляет в администрации документы, Саша (или Миша?) путешествует по территории «очага»: любуется цветником, качается на качелях, копается в песочнице, вслушивается в хоровое пение, внюхивается в аппетитные запахи, долетающие из кухни. Для кого такая

книжечка предназначалась? Кого должна была сагитировать в пользу «очагов»? Родителей? Детей? Наверяд ли они в этом нуждались. По-моему, желающих всегда было больше, чем возможностей. Или это были годы, когда правильные «очаги» дошкольной жизни только создавались и ещё не были оценены? И баланс ещё клонился в сторону предложения. Больше эта книжка мне никогда не попадалась.

А вот с другой продукцией советской журналистики для детей именно Юрий и как раз в Рабочем городке меня и познакомил. И продолжал эту полезную и благородную деятельность ещё пару лет. За что ему низкий поклон. А как дядя вышел на эти журналы? Кто ему подсказал? Скорее всего, Юрик покупал, если не регулярно, то достаточно часто комсомольские, партийные газеты. В каких-нибудь киосках... Существовали тогда ларьки «Союзпечать»? Если да, то среди чёрно-белых газет должны были привлечь к себе внимание эти яркие книжицы с веселыми, смешными названиями «Ёж» и «Чиж». Между тем эти забавные аббревиатуры расшифровывались самым прозаическим образом – «Ежемесячный журнал» и «Чрезвычайно интересный журнал».

Секрет заключался в том, что содержание, оформление этих первых детских журналов соответствовали как раз их сокращенным псевдонимам, а не вполне казенному полному названию. Дело в том, что эту периодику для будущих строителей коммунизма придумали, включая два варианта заголовков, сочинили в атмосфере весёлых находок, шуток,

игры, изобретали рубрики, охотились за художниками-единомышленниками, переписывались с читателями совершенно необыкновенные люди – компания молодых талантливых поэтов. Круг их до сих пор определяют по-разному, потому что он то расширялся, то сужался, то видоизменялся, то назывался «Орденом заумников», то странным словом «ОБЭ-РИУ» (общество реального искусства). А себя молодые гении именовали «чинарями». Я назову сейчас вам несколько имён: Хармс, Введенский, Олейников, Заболоцкий, Владимиров, Липавский, Друскин, Туфанов. Какие-то прозвучат узнаваемо. Ведь Хармс, Заболоцкий, Введенский, даже Владимиров вернулись к читателю в шестидесятые, и ещё в большем числе – в девяностые. Остальные переключились на мемуаристику, литературоведение. Или вообще исчезли с читательского горизонта. Я уже не говорю о том (вы и сами догадались?), что самые талантливые просто-напросто исчезли из жизни в 37—40 гг.

Так вот, я до этих роковых дней успела их прочитать. И про то, как бегал Петька по дороге, по панели, и про Ивана Иваныча Самовара, и как «Меркнут знаки зодиака»... Нет, насчет Заболоцкого я преувеличиваю. Его стихи я прочитала уже в «оттепель», когда они вышли в «Большой серии поэзии». Для «Ежа» и «Чижа» он был не по возрасту. Зато в этих журналах весёлые стихи Даниила Хармса про отчаянного врунишку перемежались с грустной историей про журавля, который на званом ужине у сороки (я не путаю?)

«...опрокинул кружку, хап! И съел лягушку!» И все звери, и все птицы закричали: «Где видано, чтоб гости ели сами гостей?!». Журавля выгнали, и он бродил под луной по болоту – «скучно, грустно одному журавушке моему». На картинке – унылая, виноватая фигура. Чьи стихи? Никогда больше не встречала, не слышала. Интернет нашел – Благиной. А вот ведь запомнились строчки на всю жизнь. Как что-то значительное. Ну, не афоризмы Ларошфуко. Не евангельская заповедь. Но крошечная песчинка чувств, уроненная ненавязчиво и точно в душу ребенка.

Печатались в «Чиже» (или «Еже») отдельные рассказы из книги Зощенко про Миньку и Лельку. Кажется, про обкусанные на елке сласти. Или проданные старьевщику галоши? И ещё стихи Каринского про наивную старушку и ее гадкого кота, который таскал и ел хозяйских цыплят. Разбойника наказали отважные грачи. Иллюстрации к истории были очень выразительные. Но я и строчки запомнила – причитания старушки над упавшим котом: «К счастью, лапки уцелели! Как тебя грачи не съели?». Кот так и остался неразоблаченным фаворитом старушки. Но по заслугам всё же получил...

Если напрячь память, можно ещё какие-то сюжеты, истории вспомнить... Иллюстрированные миниатюры Чарушина, Бианки, рассказы Житкова. Ведь разрозненные номера «Ежа» и «Чижа» Юрий покупал мне ещё года полтора, когда мы уже переселились в «Новый Быт». Между тем, сколько ни заводила я в шестидесятые-семидесятые годы со свои-

ми сверстниками разговоры о детском чтении – никто, никогда не видел таких журналов, не слышал о них. Эта необыкновенная, раскованная, звёздная поэзия, эти творческие поиски и находки оказались пропущены нашим поколением. Чем моим сверстникам был нанесен серьёзный ущерб. И когда я в шестидесятые годы, ухватив свеженького, только что изданного, вернувшегося из небытия Хармса, взалхлеб читала трёхлетней дочке в купе поезда «Ивана Топорышкина» и «О том, как папа застрелил мне хорька», то попутчики возмущались:

– Что за гадость вы ребенку в голову вбиваете?

Это я рассказываю, чтоб вы взяли на заметку: упущенное в детстве ни восстановить, ни компенсировать не удаётся.

* * *

И вот ещё одна важная книга, которая появилась в Рабочем городке. Она вписана в эту комнату, в эти месяцы, в мою развивающуюся жизнь, в открывающийся передо мною мир накрепко. Это «Конёк-горбунок» Ершова. Стоит мне заговорить о том времени, вспомнить какой-нибудь эпизод, сценку, как она появляется. Я уже писала, что интерьер съёмной рабочегородковской комнаты без детской книги немыслим. Она всегда в каком-то месте, в каком-то ракурсе присутствует. Но если я начну вглядываться пристально, чтобы обсудить проблему детского чтения, то это окажется, конечно, «Конёк-горбунок». Во-первых, даже по внешнему виду это – всем книгам книга. Подарочное издание в нарядном, массив-

ном переплете, на белоснежной бумаге, с билибинскими иллюстрациями. Мне её и на весу не удержать. Однако в любую удобную минуту я к ней подбираюсь, на столе, на кровати ли, раскрываю и перелистываю. Можно сказать, «читаю». Хотя меня ещё и буквам не обучали, но все равно я рассматриваю «Конька-Горбунка» не так, совсем не так, как другие книжки. Открывая одну за другой иллюстрации, восстанавливаю в голове сюжет. Вот Иван, ослеплённый видом виновницы поправы. Я тоже люблю лошадью, а кто-то вроде нашептывает: «Кобылица та была вся, как зимний снег, бела. Грива в землю, золотая, в мелки кольца завитая». А по поводу следующей картинки в голове стучит: «К кобылице подбегает, за волнистый хвост хватает. И прыгнул к ней на хребёт – только задом наперёд». И ещё: «Да Иван и сам не прост – крепко держится за хвост».

А вот картинка столичного базара, во всем его многообразии. Я смотрю и вспоминаю что-то про «давку от народу, нет ни выходу, ни входу; Так кишмя вот и кишат» (какое интересное выражение!). И ещё: «Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги, прочь с дороги!» – закричали усачи и ударили в бичи».

Вот эта экспрессивность, выразительность, многослойность текста мне нравится, меня захватывает. «Эй вы, черти босоноги!» – и я представляю, что народ на площади одет плохо, бедно, а на ногах и вовсе ничего нет. И унижен, и обижен важными царскими сатрапами (всех этих по-

нятий я не знаю, но чувствую, слово «усачи» создаёт портрет, а «ударить в бичи» обозначает как скорость, так и свирепость расправы).

Но особенно мне нравилась картинка с Чудо-юдо Рыбой-китом. Когда он «начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами». А также та, где ерша «проказники-дельфины подхватили под щетины», а он «кричит дельфинам смело: ну а вам какое дело? Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю». А потом: «Будьте милостивы, братцы! Дайте чуточку подраться!» Какой смешной и славный!

И, конечно, люблю последнюю картинкой (или предпоследней?). Хотя там и любоваться нечем – торчащие из котла царские ноги. Но это радует. И звучит в голове: «Бух в котел – и там сварился!»

Удивительно, но задерживалась я на некоторых страницах, где картинки отсутствовали. Книгу мне читали уже столько раз, что я безошибочно знала, где напечатаны вполне бессмысленные, не имеющие отношения к истории Иванушки и Горбунка строчки: «Козы на море ушли; горы лесом поросли, конь с золотой узды срывался, прямо к солнцу поднимался, лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой... Это присказка, пожди, сказка будет впереди». Или: «...Это присказка ведётся, сказка после начнётся. Как у наших у ворот муха песенку поёт», «Что дадите мне за вестку? Бьёт све-кровь свою невестку»... Или «...Сердцу любо! Я там был,

мёд, вино и пиво пил. По усам хоть и бежало, в рот ни капли не попало»...

Почему-то эти фольклорные запевы, концовки меня особым образом задевали, запоминались. Мне казалось, что я точно угадываю – с какой строчки в книге, на какой странице начинаются, какой кончаются, какой скрывают дополнительный, добавочный к сказке смысл. А вот интересно: как я понимала слова «свекровь» и «невестка»? Просила их объяснить? А строки «и нейдет ли царь Салтан басурманить христиан?» Самим взрослым это почему-то в голову не приходило. И они были правы. Весь строй, вся лексика Конька-Горбунка была так насыщена чувствами, действием, событиями, что непонятные, неизвестные слова угадывались, подсказывались, если не по смыслу, то по духу, по их месту в миропорядке.

А с другой стороны, некоторые стихотворные реплики соединялись в моей голове с совершенно конкретными житейскими фактами, помогали их постижению. Например, я задумывалась над строками: «Братья сеяли пшеницу да возили в град-столицу: знать, столица та была недалече от села». А конкретно, что имеется в виду под словом «недалече»? И я обращалась к собственному небольшому опыту поездок. Как от Ставрополя до Ростова? Полтора дня на поезде? С ночёвкой в движущемся вагоне? Нет, на телеге это бы на три дня растянулось. А вот поездка на трамвае из Рабочего городка в центр Ростова – самое то. Усевшись в телегу, ершовские

герои выезжают из своего села на рассвете, за несколько часов добираются до столицы, за полдня распродают. А к ночи «с набитою сумой возвращаются домой».

Да только начни я сегодня анализировать ершовский текст, и сразу выяснится, что и представления о разных видах морских обитателей, об их размерах (дельфинов, ершей, карасей, осетров) у меня оттуда. И как выглядит остров. И понятие о коварстве, как в придворном, так и в крестьянском мире. Но и о чести и верности...

Все эти капельки падали в ту же точку, где выросло страдание к одинокому журавлю, смешанное с осуждением его за съеденную лягушку.

Глава III. «Новый Быт», или От трёх до восьми

Однако по-настоящему, неразрывно, моя жизнь соединилась с книгой весной тридцать шестого года, когда мы наконец обрели постоянное место жительства. Переехали в «Новый Быт» на долгие-долгие годы. Бабушка и я – на двадцать (плюс-минус по году). А мама – на сорок с лишним, до самой смерти.

Впрочем, и эта жизнь одной семьи под общей крышей (правда, состав ее трансформировался ничуть не реже, чем состав компании обэриутов) определялась прежде всего историческими событиями (весьма бурными) и социальной средой (весьма заурядной). Но также индивидуальными особенностями биографий и характеров. И всё же, и всё же... Не было ли какой-то мистической ауры в этом многолетнем нашем пристанище, с его уникальной конфигурацией, с символической надписью «Новый Быт» на центральной плоскости фасада? Почему про Ставрополь, Рабочий городок у меня остались в памяти отдельные эмоциональные впечатления, вне всякой хронологии, без конца и без начала? А пребывание в «Новом Быте» предстает в моих воспоминаниях не в обрывках, а как подробная хроника семейной жизни со своими особенностями, правилами, философией, конфликтами и праздниками. Правда, осмысленные схемы

и формулы этой жизни я вывела много лет спустя, но материал для такой работы накопила именно в новобытовском детстве... Или объясняется всё моим вступлением в следующий возраст? Тот самый – дошкольный. Который у психологов официально относится к трехлетнему.

Во всяком случае, я совершенно отчетливо помню наше вселение, вернее вхождение. Конечно, никакого понятия о летоисчислении я не имела в это время. И тридцать шестой год прозвучал, обозначился много позже, когда я уже подростком ловила всякую семейную хронологию в разговорах взрослых. А вот время года определила моя память: тепло, сыро, пасмурно. Влажные пятна вчерашнего дождя на асфальте. Так бывает в конце марта, начале апреля. «Как раз накануне моего дня рождения», – констатирую я уже сегодня. Те самые сакраментальные три года! Теперь картинка.

Мы идём (кто мы? людей я не вижу), сегодня могу предположить, что вела нас мама. Она уже тут бывала, когда определялась с обменом, оформляла документы, получала ордер. И, конечно, присутствует бабушка, будущая блюстительница семейного очага.

Но я на них не обращаю внимания. Меня интересует только новый дом, «Новый Быт». Это я с НИМ встречаюсь... Иду по левой стороне Мало-Садовой, минуя высокое, в классическом стиле дореволюционное здание и с удивлением спотыкаюсь об эту серую кирпичную причуду архитектора Григорьева, которая поражает меня высотой. Хотя многоэтаж-

ные дома я уже видела... Да вот только что... Но «Новый Быт» куда выше – целых пять полноценных этажей. А какое обилие окон рассыпано по стенам! Если в соседнем здании окна смахивают на большие глаза, то в «Новом Быте» – на крупные, частые оспины.

Но главное – эти зигзаги, эта гармошка, которой дом преграждает нам путь, а потом отступает назад, образует ущелье для пещеры (подъезда). Мимо первого ущелья мы проходим, не задерживаясь. Минуем ещё один выступ... А вот теперь – поворот. Асфальтовая ленточка вильнула на девяносто градусов от асфальтового же тротуара по направлению к подъезду. И я отчётливо вижу даже сегодня её прямизну, а также обрамляющие дорожку два треугольника вскопанной почвы. С моим ставропольским садовым опытом я догадываюсь – здесь будут посажены цветы (так и случилось).

Асфальтовая речка, вопреки законам природы, не падает вниз, а упирается в ступеньки шестого подъезда, проходного, как и восьмой, которым мы только что пренебрегли (номера подъездов и их особенности будут изучены потом). И совершив несколько подъёмов-спусков по внутриклеточному лабиринту (подъезды в «Новом Быте» почему-то называются «клетками»), мы выходим в громадный, протяжённый двор. Поворачиваем направо и ещё раз направо, и вступаем в пятую, нашу собственную, непроходную «клетку». Опять пещера между двух скал. Но внутри пещеры, в ее глубине, в квартире, оказалось очень светло, тепло и уютно.

Но это всё потом: квартирные впечатления, освоение дворового пространства, выяснение количества «клеток» – всего девять; чётные – проходные, нечётные – нет. Ещё имеются железные ворота. Они выходят на проспект Соколова (по-старому Средний), по которому «Новый Быт» и числится под номерами 17—19 (есть и второй корпус). Сегодня – №№21—23.

Существует ещё какой-то полулегальный выход на Ворошиловский проспект. Пользоваться им детям самостоятельно не рекомендуется. Во-первых, Ворошиловский – одна из главных транспортных артерий Ростова. Того и гляди под машину или трамвай попадёшь. Во-вторых, через него ходят обитатели трёх смежных зданий: второго новобывтовского корпуса, областной партшколы, а главное (я это узнала много лет спустя) – работники ОГПУ, разместившегося в той самой дореволюционной многоэтажке. Кстати (кстати ли?) некоторые сотрудники ОГПУ живут в «Новом Быте». В нашей «клетке» в том числе. А энное количество окон серьёзной конторы, забранных матовыми стеклами, выходит к нам во двор, на дальний его закоулок, где в разное время размещается то что-то вроде спортивного аттракциона: высокие качели, соседствующие с шестом и канатом, по которым пацаны постарше пытаются карабкаться. То там выставляют мусорные баки, не меньше десятка. Выносить мусор – моя обязанность, и я стараюсь не пропустить, не опоздать к дню, часу приезда мусоровоза.

Кто, интересно, решал, чем отвлечь или привлечь внимание новобывовцев от или к секретной конторе? Комиссар госбезопасности? Или домоуправление? Или просто в тридцатые и в пятидесятые были разными представления об уюте двора и о способах утилизации отходов? Или в пятидесятые ОГПУ отчалила в другое место?

Но это всё факты и фактики для каких-то других сюжетов, к которым я, скорее всего, не успею обратиться. В том числе – подробности первых детских дружб и недружб; картинки тогдашних дворовых игр: все эти «Золотые ворота», «Здравствуй, дедушка король!», «Красочки», «Чью душу желаете?», «Да» и «нет» не говорите». А ещё «Штандер». И, конечно, «Классики». За них нам всегда попадало от тети Маши Дудченко, которая блюла чистоту тротуаров возле нашей «клетки» и заставляла нас смывать нарисованные мелом квадраты. А когда мы подбрасывали в «Штандере» мяч чуть ли не в небо, ругалась, если он падал на клумбы. Ведь именно Мария Ивановна была главным садовником, организатором дворового актива. И уже через год-два несколько клумб, лента газонов, подросшие акации и свежевыкрашенные скамейки превратили новобывовский двор в хороший сквер для женщин-домохозяек, мамаш с колясками, а вечером – для мужиков-доминошников.

Эти детали можно использовать в повести или даже в романе à la сёминские «Семеро в одном доме», где Дудчиха вполне могла бы поспорить яркостью личности и энергетич-

кой с Мулей. А заодно заставить задуматься, так ли прекрасны, благостны, достойны восхищения эти типажи из «простого народа», эти носители морали, философии, энергетики маргинального населения советской провинции?

В семьдесят седьмом году мы заспорили по этому поводу при шапочном знакомстве с Анной Самойловной Берзер. Уже прошло несколько лет, как «Новый мир» опубликовал повесть Сёмина, а в Берзер всё ещё пылал восторг перед явленным миру настоящим народным характером, доселе ей (ей – безусловно) неизвестным. Я же, проживавшая все детство в одном дворе, в одной «клетке» с новобытовской «Мулей», помнила, как трудолюбивая, энергичная, бескорыстная, весёлая тетя Маша в одну минуту превращается в склочную, грубую, глупую сплетницу.

Опять меня занесло не туда... Ни двор-сквер, ни «клетка»-пещера к моему «роману» с чтением отношения не имели. А вот квартира, семья – да. Сто раз – да! Во-первых, сразу сформировалась и определила себе место наша маленькая библиотека. Вернее две библиотеки – взрослая и детская. На рыженькой скромной этажерке, пристроившейся в правом, дальнем углу столовой (так именовалась первая, большая, проходная комната).

Если слово «этажерка» происходит от слова «этаж», то у нашей их было три. На первом, закрывавшемся тугой дверцей, хранились мои разномерные, легко лохматившие книжки. «Конёк-Горбунок» – исключение, в переплёте. Он

лёг первым на дно этажерки, этакий фундамент здания. А уже на него навалились номера «Ежа» и «Чижа», «Игрушки» Барто, «Телефон» Чуковского и прочее. Не сказать, что мне досталось удобное место. В сумраке этого скорее подвала, чем первого этажа, нелегко было выловить из бумажной кучи желанного Бориса Корнилова или «Трёх медведей». С другой стороны, подвалы, особенно полуподвалы, считались в те годы вполне достойным помещением. В том же «Новом Быте» все «клетки» имели обширные, обеспеченные канализацией и центральным отоплением полуподвалы. С большими окнами, на три пятых выглядывающими из ямок, в которых остальные две пятых прятали от неаккуратных прохожих свои хрупкие стекла. Меньшая часть этих полуподвалов была предоставлена домоуправленческим службам, а в остальных были оборудованы дополнительные квартиры. Они так и обозначались – 51а, 63а, 63б... и, на мой детский взгляд, ничем не отличались от наших. Например, у моей ближайшей подруги Инки Васильченко в нашем подъезде, прямо под нами (мы жили на первом этаже; нет, это называлось «бельэтаж», полуподвал нас приподнимал, особенно со стороны улицы; сколько тонкостей придумал этот чёртов Григорьев!) были точно такие же две комнаты площадью 27 метров, и такие же соседи по общей кухне, в единственную комнату которых вёл такой же кривой коридор.

Тоже непрменные особенности «Нового Быта» – кривые

коридоры, пятиугольные комнаты (я определила – в виде утюга). Так реализовались внутри дома его внешние зигзаги. Когда тридцать пять лет спустя мой муж, архитектор, поселился у тётчи в «Новом Быте» в ожидании собственной квартиры, то не уставал восхищаться проектом Григорьева, его рациональностью, стопроцентным использованием площади, высоким уровнем (по тем временам) комфорта, замечательной инсоляцией и уникальным силуэтом.

Теперь оставим в покое полуподвальные квартиры, а также нижнюю, закрытую полку нашей этажерки. На второй, открытой, выстроились во всей красе взрослые книги. В два ряда. Сзади стояли большие – юбилейный однотомник Пушкина, Маяковский... Нет, всё вру, всё путаю... Пушкина издали к столетию со дня смерти в тридцать шестом году, осенью, а Маяковского аж в сороковом. Тогда их Юрий и купил, и пометил своим автографом. И вообще, этажерка была не трёх-, а четырёхэтажная. Взрослые книги занимали две полки. Ведь их было довольно много. Даже за вычетом однотомников Пушкина и Маяковского. Не помню, когда появились (я в них в детстве не заглядывала и поэтому в зрительной памяти дошкольницы они отсутствуют, хотя куплены явно до войны) два тома исторических пьес Шекспира из дореволюционного издательства Брокгауз-Ефрон (может, когда дядя учился на историческом факультете после армии?). Вот они создавали второй ряд на одной из «взрослых» полок с тоже рослыми томиками «Как закалялась сталь» Остров-

ского, «Бруски» Панферова, «Чапаев» Фурманова. А спустя какое-то время том за томом присоединился «Тихий Дон». На передних планах располагались книги пониже ростом. Во-первых, бабушкина «библия» (я имею в виду потрепанный дореволюционный томик Лермонтова, с которым она не расставалась всю жизнь). Довольно упитанный сборник рассказов и повестей Гоголя. А вот «Рождённые бурей» Юрий поставил перед «Как закалялась сталь» или рядом? А потом одна за другой стали появляться книги местных издательств: «Повесть о детстве» Штительмана, «Ковёр-самолёт» Кофанова, «Волшебная шкатулка» и «Гордиев узел» Василенко, «Академик Плющов» Закруткина. Эти уже, наверное, в тридцать девятом – сороковом. А когда я к «взрослым» книгам приобщилась? Взяла в руки? Услышала? Попробовала читать? Уверена, что – до войны. Потому что в её катастрофическую эпоху и даже в свою школьную жизнь я вступила с ощущением причастности к некоему особому миру, особому слову, особому духу, не до конца понятному, но притягательному, высокому. К литературе для взрослых. И я уже пыталась жить по правилам и понятиям этого мира. А мои близкие, сознательно или интуитивно, меня в него вовлекали. Ведь Пушкина мне читали с четырёх лет. Я не про сказки говорю... «Руслана и Людмилу»! И не один раз. Причем бабушка жаловалась своим подругам, что пыталась сократить шедевр «солнца нашей поэзии», пропуская отступления от сказочного сюжета, вроде всяких посланий Климе-

не. Но я, как когда-то «вестки» в «Коньке-Горбунке» о свекрови и невестке, помнила про Климену и в каком месте Александр Сергеевич захотел с ней побеседовать. И была неумолима. А Юрий мне что-то из однотомника Маяковского читал. Хотя уже носил детские издания – «Кем быть?», «Что такое хорошо», «Что ни страница, то слон, то львица»... Но и эпизоды из главной книги Островского слышу его голосом мне преподнесённые: Павка у попа, инцидент с официантом... Остальное уже дочитывала сама во время войны. А вот «Волшебную шкатулку»?.. Сама лет в шесть читала? Или мне? «Ковёр-самолёт» – точно сама в первом классе. А Штительман? Это ведь был какой-то литературный взрыв в Ростове. Её читали в сотнях домов, восхищались, обсуждали. Может, у нас читали вслух для всей семьи? А когда же я над ней рыдала? А кто читал мне «Ночь перед Рождеством»?

Но ведь были ещё две экзотические книжки, которые неизвестно как оказались в библиотеке Юрия? Это «Мой дядя Бенжамен» Клода Тилье. Её точно читал мне дядя. Причём с педалированием отдельных отрывков, фраз. С объяснением – насколько и почему это смешно, А может, это он не мне читал, а нашим женщинам, просвещая их, а я оказалась рядом, «заодно». Потому что во время нашего военного отсутствия роман Тилье исчез, я его никогда больше не встречала, содержания не помнила, но точно знала, что книга – смешная. Почему – поняла только в шестидесятые

годы, посмотрев фильм Данелия «Не горюй!», сценарий которого – ремейк «Моего дяди Бенжамена». Но вот запало же в те годы название, имя автора, какая-то аура. А с каких-то пор, недавних, появилась мечта – все-таки прочесть. Возникла книга, попала в руки, в дом, насовсем... На французском языке... Но тем интереснее. Тем более никто в спину не дышит... А я по-французски со словарем читаю...

Но вот вторую необычную книгу, приобретённую Юрием явно в букинистическом... Или кем-то подаренную... Или что? Но им сначала похваленную. Потом читаемую им пятилетней мне. По одной вещи на выбор. Потом ещё... ещё... Уже я сама... Потом много, почти все сказки – шести-семилетняя... Потом в девять-десять лет – от сказок к рассказам... К романам (повестям?) ... Потом к пьесам... По первому, второму, десятому разу. До знания наизусть. До чтения на шефских концертах в госпиталях. До ранее неиспытанного наслаждения послесловием Чуковского.

Речь идет о сильно потёртом первом томе из собрания сочинений Оскара Уайльда, дореволюционного издательства Маркса. С этим издательством, вернее с его продукцией, я потом познакомлюсь очень близко и проникнусь почтением и благодарностью. Но за Оскара Уайльда – отдельный и низкий поклон. Не знаю, кому ниже – Марксу или Юрику? В который раз задумываюсь: откуда взял его дядя? Все-таки заглядывал в букинистический? Судя по Шекспиру от Брокгауза-Ефрона – да. Но к этим томам могла потянуться рука

студента-историка. А чем его привлек Уайльд? Насколько я помню, не очень часто, но о литературе в нашей семье говорили. Бабушка – о Лермонтове всегда с экзальтацией, всегда с придыханием, с постоянным цитированием, особенно «Мцыри». С большим уважением – о Чехове. С живым интересом – о Горьком. Почему-то с ненавистью – о Леониде Андрееве. В круг представлений мамы, получившей наиболее полное, систематическое среднее образование (в Батумской школе, бывшей гимназии Арнольди) входили все положенные звёзды российской и мировой словесности, с упором на Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и, может быть, Диккенса?...Бальзака?.. А может, и нет... У Юрия все крутилось вокруг Маяковского, Островского, Шолохова. Для совместных обсуждений им подходил разве что Эренбург. Но это значительно позже, во время и после войны... Но вот уж Оскар Уайльд в нашей среднеарифметической семье служащих никогда никаких разборок и даже просто упоминаний не заслужил. Читали мне его вперемежку не только с Андерсенем и «Цветиком-семицветиком» Катаева, но и с «Гуттаперчевым мальчиком» Григоровича и «Агитмедведем особого отряда» Кассиля. Нет, всё-таки дядя как-то эту книгу, эти сказки выделял. И с момента её появления в доме, прибегал чаще, чем к другим, и с каким-то нажимом... Может, это очередная ложная память?.. А не была ли эта книга ему подарена специально для меня только что реабилитированным после «ежовщины» бабуш-

киным братом, дедушкой Мишей, который несколько месяцев жил у нас? Такой автор, такой дух, стиль вполне ему соответствовали... Вот очередной повод для фантазий и размышлений, который дает книга.

Но дело не в этом. А в том, какую роль в моем духовном, умственном развитии сыграл «великий эстет» (так назывался очерк Корнея Чуковского).

Пусть мне нравились все разновкусные потоки, обрушившейся на меня литературы: и Маршак, и Маяковский, и «Дюймовочка», и «Мальчик-с-пальчик», и «Голубой карбункул» Конан-Дойла, и «Честное слово» Пантелеева. Но мир Оскара Уайльда был совершенно особым. Сегодня я бы назвала эту особенность «изысканностью». Тогда я этого слова не знала. Но определенно чувствовала, что его волшебство отличается от простодушного, домашнего очарования сказок Андерсена, парадоксальность его детективов – от железной логики Конан-Дойла, ирония «Кентервильского привидения» – от абсолютной серьезности ужастиков Эдгара По. Это, конечно, уже попозже, в первые школьные годы. Или всё-таки до войны? Но важно, что, соприкоснувшись с Уайльдом, я догадалась о существовании литературной иерархии, о делении книг не только по длине текстов, не только по их сложности, занимательности (это я уже знала: «скучно», «а что дальше?»), но и по стилю, манере творчества, особому взгляду на мир. И в этом смысле Оскар Уайльд опережал всех своей яркой, пряной индивидуаль-

ностью. Я это почувствовала сразу и в «Счастливом принце», и в «Преданном друге», но особенно в «Соловье и розе» и в «Дне рождения инфанты». Именно их я перечитывала до полного, буквального запоминания. Сначала для себя лично. А только потом, в сложившейся ситуации для публики.

Но про мои взаимоотношения с отдельными авторами, отдельными книгами речь ещё впереди. Сейчас брошу последний взгляд в нашу новобытовскую столовую. Этажерку мы уже рассмотрели. На четвертой, верхней, огороженной низеньким барьерчиком полке почти пусто: небольшое прямоугольное зеркало, пудреница, духи (или одеколон?), расчёска. За зеркалом укрыта какая-то жестяная коробка, в ней исписанные бумажки с печатями. Квитанции? Больше, кажется, ничего нет. Нет, баночка с наклейкой, наполненная белой массой. С наклейки улыбается румяная женщина. Надпись «Весна». Позже, когда могла её прочесть, уже знала, что это мамин крем от веснушек.

Кроме этажерки в комнате – кухонный шкафчик, бабушкин любимец. На почётном месте, покрытый до скрипа накрахмаленной вышитой скатертью. На нём торжественно возвышается кувшин из коричневой глины (керамика?) с кипяченой водой. В центре – большой, квадратный, под клеенкой, обеденный стол. В углу – сложенная вертикальным образом, парусиновая на деревянных козлах койка Юрия. В тридцать восьмом году, когда маме вернули не ею плачен-

ный кооперативный пай («Новый Быт» перешел в собственность государства), на эти «бешеные» деньги был куплен чёрный клеёнчатый диван, шифоньер для «спальни» и настоящий «дубовый» книжный шкаф. После чего кухонный шкафчик отправили в кухню, скатерть и кувшин переместили на обеденный стол, Юре застлали на ночь диван, а книги упрятали в шкаф, который высился в лучшем простенке, как важная персона. Боюсь, что в нём детские книги становились малодоступными. Но ведь этажерка-то сохранилась. Просто переехала во вторую комнату, в которой спали бабушка, мама и я. Где был устроен мой игрушечный уголок. Вот, скорее всего, туда перекочевала увеличившаяся детская библиотека, получив в свое распоряжение все три этажа.

Наверное, к этому времени относится всплывшая сценка. Юрик в голубой майке без рукавов. Крепкие плечи, волнистые тёмные волосы, загорелая шея – влажные после умывания. Он кое-как промокает брызги носовым платком и, невзирая на ворчание бабушки, усаживает меня на диван, вытаскивает из своей папки книжку, яркую, на каждой странице – картинка. На картинке – диковинный зверь.

– «Что ни страница, то слон, то львица», – провозглашает Юрик. Дядя купил подарок вчера, но пришел, когда я уже спала. И вот торопится обрадовать, приобщить... Глаза блестят, он весь светится. И я уже заряжена его азартом. Отказываюсь умываться и завтракать, предвкушая прекрасный выходной с Юрием и книгой...

Но это выходной... А как складываются мои будни?

Нет... ещё одно отступление... Не картинка, не сценка. Мысль (ха-ха-ха!). На мудрость не претендует, но предназначение имеет. Я же собираюсь рассказать, как приобрела свою главную профессию – читателя. Так вот, посыпавшиеся из памяти подробности семейной хроники свидетельствуют – овладеть этой специальностью в совершенстве можно, только освоив... нет... развив в себе... навыки... инстинкты... Не знаю, как сказать... Это, как хорошим архитектором можно стать, только если обучишься всем строительным специальностям, разовьёшь художественный вкус, натренируешь глаз и руку в рисунке, приобретёшь инженерное мышление. Таким архитектором был мой муж.

А настоящему читателю, его ещё называют библиофилом, но не будем становиться на котурны, обязательно требуется наличие двух инстинктов – охотника и собирателя. Кстати, эти свойства природы порой превращаются в настоящие профессии. А могут оставаться на уровне хобби. Но любителю чтения они необходимы. И мне эти навыки?.. страсти?.. прививали. Сейчас расскажу как...

Хроника нашей новобытовской жизни совершенно однообразна. В шесть утра подает голос черная бумажная тарелка репродуктора. Она у нас не выключается. Не уверена, с чего до войны начинались передачи, – с позывных «Широка страна моя родная» или сразу с «Интернационала»? И тут же встает бабушка. Готовит или разогревает завтрак, будит ма-

му и Юрия (или они поднимаются сами?), кормит их и провожает на работу. Потом принимается за меня. Как положено – умывание, еда (с некоторыми моими капризами), одевание по погоде (предварительно бабушка убирает со стола и моет посуду). И вот мы выходим из дома в длительное путешествие...

Подчеркиваю – в длительное. Предстоит поход по магазинам. И хотя мы живём в самом центре и вышли в десять утра, но раньше полпервого возвращаться не собираемся. Вот теперь хочу определить, вспомнить, куда мы заходим в первую очередь? Все-таки в продуктовый... Хотя по маршруту он был вторым. Но последовательность определялась не топографией, а чем-то другим, каким-то внутренним смыслом. Эта покупка макарон или сахара, была чем-то второстепенным, попутным, механическим, как ежедневное умывание, от которого надо спустив рукава (в смысле закатав) поскорей избавиться и приступить к главному делу.

Впрочем, и в бакалейном этом магазине были интересные штуки... Пока бабушка стояла в очереди, попеременно: к прилавку, в кассу, к прилавку – я в который раз рассматривала две громадные фарфоровые вазы в центре магазина: одна была расписана драконами, другая – невиданными цветами. Назывались вазы «китайскими». Может, и были? И магазин именовали в их честь? Бабушка вечером, выставляя на стол сушки, сообщала маме: «В „китайском“ сегодня давали». Вот когда уже звучало это чисто совковое слово.

Но вот сушки или гречка куплены, кульки спущены в бабушкину сумку («кошёлку» тогда говорили), мы выходим из бакалейного и возвращаемся на сто метров назад. Отворяем большую застеклённую дверь. Её нарядность увеличивается в моем сознании тем, что она находится точно на скрещении двух знаковых улиц Ростова: главной, имени Энгельса (знаменитая Садовая из песни) и осевого проспекта – Ворошиловского, который бабушка упорно называет Большим. И он действительно был самым большим, распахантым, звенящим, шуршащим всеми видами транспорта. Разве что Будённовский, бывший Таганрогский, мог с ним поспорить. Но того я до войны, кажется, не видела.

Тяжелая двустворчатая дверь открывается медленно, но закрывается за нами ещё медленней. Может быть, не закрывается полностью вообще. Или это опять моё ложное впечатление, что дверь углового магазина приоткрыта всегда... Приглашает... Заманивает...

И мы входим в КОГИЗ. Что это слово обозначает? А-а-а, вот расшифровка в интернете: «Книготорговое объединение государственных издательств». Язык сломаешь. А вот аббревиатура запомнилась сразу. В раннем детстве. И до сих пор рождает приятные ассоциации. Поэтому радуюсь случаю им воспользоваться. Скажешь «КОГИЗ» – и мгновенно возникают широкие застеклённые прилавки, внутри которых выложены только что полученные, нарядные книги. За прилавками – красивые, да-да, красивые, потому привет-

ливые, внимательные женщины-продавцы. А за их спинами – полки. Опять книги! Эти колонны держатся скромно, тесно прижавшись переплёт к переплёту... Впрочем, и тут бывают исключения: какую-нибудь важную особу вдруг развернули к покупателям лицом, чтоб обратили мы внимание на обложку с картинкой или на завлекательное название. Вот именно так: в таком месте, в такой обстановке, в таких деталях начиналось каждое утро в моем новобытовском детстве.

В действительности – не каждое. Были обстоятельства, когда мы вообще не выходили: плохая погода, состояние здоровья. А если мы с бабушкой собирались в кино (в «Хронику» примерно раз в пять дней, в «Юнгштурм» – пореже, но ни «Чапаева», ни роммовскую «Лениниану», ни «Юность поэта», ни «Волгу-Волгу», ни «Кукарачу» не пропустили), то посещение КОГИЗа отменялось. Однако, хотя кино высоко ставилось в наших с бабушкой ценностях и его посещение всегда имело привкус праздничности, визит в КОГИЗ – это совсем другое. Это то, в чём испытываешь постоянную потребность, без чего жить нельзя. Совпадали такие ощущения у меня с бабушкой изначально? Конечно, нет. Мои дошкольные мысли были коротенькими и пустяковыми, скорее всего их вообще не было. Это только сегодня я высматриваю и определяю бабушкины предпочтения. Но все строительство наших будней с их дотошным повторением, мнимой непоследовательностью, разнообразным однообразием создавали сначала привычку, а потом и предвкушение со-

бытия, уверенность в том, что оно состоится. Я имею в виду КОГИЗ, потому что вместо бакалеи мы могли отправиться в гастроном «Три поросенка», а после сорокового года – в «Маслопром» или вообще обойтись без пищевых покупок. Книжный же был неизбежен. Плюс обилие тамошних впечатлений. Так и образовалось формально ложное, но фактически истинное воспоминание, что мой день в детстве начинался встречей с книгами. Как же она протекала?

Прежде всего, мы разглядываем: что выложено на прилавке под стеклом. Загораемся, я – увидев яркую обложку, бабушка – прочитав новое название. Или наоборот – знакомое, но ещё мне не читанное. А то продавщица, для которой мы уже свои люди, достаёт нам что-то с книжных полок. Я помню если не сотни, то многие десятки книжек, которые мне в те годы купили. И которые не купили, пропустили, опоздали. И потом их приходилось искать для прочтения у знакомых. Или пересказывать своими словами, как пересказывала мне мама «Снежную королеву», которую удачливая сослуживица предоставила ей в обеденный перерыв.

Это действительно было время бума детской литературы? Или это моя фантазия? Или это результат нашего ежедневства? Но уже через год мой «подвал» в этажерке был забит отлично иллюстрированными стихами Чуковского, Маршака, Михалкова, Барто. Тут и «Человек рассеянный», и «Сказка о глупом мышонке», «Бармалей», «Путаница», «Доктор Айболит», «Игрушки», «Дядя Степа». А через два-

три года – толстенные, в переплёте, – их же «Избранное». Однако любая из этих покупок – момент удачи. Непременным же, каждодневным событием было приобретение книжечки из специальной детской серии, которые вылетали из типографий, как конфетти из ёлочных хлопушек: много, непрерывно, а главное, баснословно дёшево, доступно любому, самому скромному карману (копеек пять-десять) и удивительно разнообразно по жанру, по стилю, по содержанию. Просто гвозди от всех стен: из дворцов, из хижин и даже из юрт и чумов (если в них пользуются гвоздями). Вот вам навскидку несколько названий из самой массовой серии «Книга за книгой» (тоненькая тетрабочка в двадцать-тридцать страниц, рассказ или крошечная повесть для детей от семи до десяти лет). Вспоминаю из тех, что поселились в нашей квартире: «Ванька» и «Каштанка» Чехова, «Гуттаперчевый мальчик» Григоровича, «Тёма и Жучка» Гарина-Михайловского, «Белый пудель» Куприна, «Дед Архип и Лёнька» Горького. Сплошные русские классики о жизни детей в проклятом прошлом. «Тёма и Жучка», впрочем, скорее психологический этюд, чем социальный. Зато сугубо пролетарскими настроениями проникнут отрывок из другой книги, из «Рождённых бурей»; под названием «Гудок». «Книга за книгой» опубликовала историю с Андреем Птахой и его братишкой. Эпизодам гражданской войны посвящён «Агитмедведь особого отряда» Кассиля. Но и зарубежные авторы не были забыты. Через эту серию я познакомилась

с Гюго – конечно, «Гаврош» и «Козетта», с Джеком Лондоном – «Рыжий волк». И, между прочим, с прекрасными авторами, которые только тогда у нас и промелькнули: «Нелло и Патраш» Уйды и две главы из повести «Сердце» Эдмондо де Амичиса. Обе эти книжки так затронули мои чувства, что я запомнила не только содержание рассказов и их названия, но и фамилии авторов. И потом уже подростком и даже взрослой библиофилкой искала и сведения о писателях, и их книги. Об Эдмондо де Амичисе узнала довольно много. Может быть, благодаря тому, что его повесть «Учительница для взрослых» послужила сначала основой для киносценария Маяковского и либретто к балету «Барышня и хулиган», а потом канвой фильма «Весна на Заречной улице». Но и «Сердце» в конце концов у нас перевели и издали полностью. Дважды. В первый раз – в 58-м году в Москве. В оттепель я ее отхватила для детей, которых пока не было (даже мужа не намечалось), но я уже куда-то слала бланки-заказы «Книга почтой». Во второй раз, выпасая внуков в 93-м, я налетела на «Сердце», изданное в Ленинграде, в магазине, комплектующем библиотеки. И купила не то 10, не то 15 экземпляров, чуть ли не на четверть семейного бюджета. И оделила не только всех внуков собственных, но дружественных, чем горжусь и поныне. А вот Уйда так и осталась в моем представлении автором единственной книжечки из вышеупомянутой серии. Правда, появлялась она в моей жизни трижды. Первый раз году в тридцать седьмом. Читала

мне её бабушка. Погружаясь в трогательную историю дружбу мальчика и собаки, мы обе испытали много добрых и грустных чувств. Кто сказал, что сентиментальность – это плохо? Это, прежде всего, необходимо, чтобы душа, сердце учились чувствовать (не зря же во французском эти слова однозвучны). У дошкольника весь организм активно растёт, формируется: скелет, мозг, мышцы, зубы... Поэтому как раз такая повышенная, открытая, откровенная чувствительность, если её вовремя пролить на детскую душу в достаточном количестве, подействует благотворно. И не бойтесь переборщить. Не опасайтесь передозы. Излишки сентиментальности быстро отождествят, оторвёт прессом повседневности. Потом всю жизнь будешь в себе раскапывать её крохи...

Так что чувствительный рассказ Уйды пришёлся весьма кстати. Впрочем, ведь и «Гуттаперчевый мальчик», и «Янко-музыкант» Сенкевича, те же «Ванька», «Дед Архип и Лёнька» – все они взяты из того кармана писательской души, в котором хранятся сантименты.

Второй раз Уйда попала мне в руки тоже в тридцатые, но уже с двумя рассказами. Под одной обложкой с историей о Нелло и Патраше соединили новеллу о маленькой дочери итальянского революционера. В ней акцент падал уже на такие качества юной героини, как верность, мужество. И тоже всё достаточно романтизировано, педалировано, чтоб доходило до моего возраста. Так вот – выбор этого автора я считаю большой заслугой составителей серии «Книга за кни-

гой». Потому что имя Уйды не только в моей памяти удержалось, но декларировалось мною уже во взрослые годы, как образец детской литературы. Я взалхлеб рассказывала об этой книжечке молодым вроде меня, а потом – уже моложе меня – мамам; пыталась пересказать истории (особенно «Нелло и Патраш») своим и чужим детям. Но по-прежнему ничего не знала о писательнице и не знала, где взять книжку. И вдруг, чуть ли не в девяностые годы – кто? почему? – издал эти два рассказа. И вроде бы в той же серии «Книга за книгой». Она ещё существовала? Или я просто ухватила на развале довоенное издание? И была счастлива! И читала рассказы Уйды уже внукам. Но когда подросли правнуки (первый родился в 2008 году, значит, к 2013-му) книжка из моего дома опять исчезла и, кажется, безвозвратно. Хотя есть у меня один хитрый план её возрождения. Попробую. Но интересно другое. Буквально на днях, из того самого охаянного, отброшенного мной интернета, заказав в нём справку, я получила исчерпывающие сведения о таинственной незнакомке моего детства – Уйде. Оказалось, что это – очень плодовитая и, наверное, в своё время известная писательница. Уйда – не странная фамилия, а псевдоним Марии Луизы де ла Раме, образованный из её детской клички, когда ей не удавалось выговорить свое имя (Луиза – Уиза – Уида – Уйда). Родилась Уйда в 1839 году в Англии (отец – француз, мать – англичанка). Жила преимущественно в Лондоне, последние годы – в Италии, где и скончалась в 1908 году. Написала более соро-

ка (!) авантюрно-сентиментальных романов, которые автор справки характеризует так: «С точки зрения чисто литературной критики и по соображениям морали и вкуса романы Уйды могут быть осуждены». Смысл реплики мне не совсем понятен. Насчет погрешностей вкуса – я могу сделать предположения. А мораль каким образом нарушена? Излишняя фривольность, натурализм? Не похоже, не вяжется с другими фактами биографии писательницы. Во-первых, Уйда была активисткой борьбы за права животных (ей даже памятник во Флоренции поставили с акцентом на этот момент её жизни). Во-вторых, кроме романов был у Уйды ещё более любимый жанр – литература для детей. Она регулярно писала для них рассказы, выпуская сборник за сборником. Кроме того, оценка творчества Уйды, опубликованная в интернете, противоречит реплике Джека Лондона, который в интервью заявил, что одним из важнейших факторов, подтолкнувших его к писательству, стал роман Уйды «Signa», прочитанный им в восемь лет. Впрочем, в конце своей рецензии автор одобрительно отозвался о романах «Мотыльки» и «Под двумя флагами».

Вот, пожалуй, и всё, что я извлекла из интернета. Но и это уже достижение! О скромном месте Уйды в мировой литературе я догадывалась. Ведь кого только не вытаскивали из небытия сегодняшние издатели, а вот Марию Луизу де ла Раме обошли. Зато в моей жизни она свой след оставила. Пусть не такой, как в жизни Джека Лондона (в эту сторону ме-

ня увлекли другие авторы). Но в формировании моего внутреннего мира... И опять поклон в сторону создателей серии «Книга за книгой». Какой инстинкт или удивительное знание необъятного поля мировой литературы помогли им вырвать из громадного объема книг Уйды этот крошечный шедевр. Впрочем, жемчужное зерно так или иначе отыскивается. И даже не одной персоной, а многими. К истории о дружбе мальчика и собаки не только сама Уйда обращалась несколько раз, меняя жанр, увеличивая объём, но и кино-сценаристы, и японские аниматоры. В интернете это парой строк упомянуто. И название ремейков – «Собачье сердце», «Фландрийский пёс». И какие-то комбинации имён главных героев.

Но я возвращаюсь к неоконченной фразе: «В формировании моего внутреннего мира... роль Уйды неоценима». А сегодня она ещё даёт повод вернуться к разговору об интернете. Вот его истинное место в мировой культуре: безотказный, сверхэнциклопедический справочник; словарь, объясняющий значение всех – старинных и суперновых – слов и выражений; корректор, выправляющий все ошибки. Однако ни тот, что занимал когда-то целую стену, ни тот, что помещается сейчас на столе, на колене, на ладони, не мог и не может породить столько чувств в прошлом, столько воспоминаний в настоящем, столько черт в моей личности, сколько вызвала к жизни эта крошечная книжечка «Нелло и Патраш».

Теперь вернёмся в тридцатые, новобытовские годы, в КОГИЗ, и пороемся с бабушкой в ещё более пёстрой и почти ежедневно пополняемой серии книжек для малышей. Действительно, для самых маленьких. Это и названием серии подчеркивается «Книжки-малышки», и фактическим размером – с мою ладонь, и яркостью обложек, обилием иллюстраций – на половине страниц. А остальные страницы – всегда рифмованные. Поэтому они прочитываются залпом, запоминаются сходу, целыми книжками. И такими смешными, звонкими, как про котятков, которые потеряли перчатки (перевод с английского Маршака), и такими серьёзными, требовательными, как михалковские «Жили три друга-товарища в маленьком городе N» – про гражданскую войну в Испании. Мы до сих пор выясняем с подругой, кому правильно подсказывает память – мне («Не о чем нам разговаривать», – так он фашистам сказал») или ей («Не о чем нам разговаривать», – он перед смертью сказал»). Я думаю, мы обе правы. Скорее всего, Михалков сам менял текст, в зависимости от времени публикации – до подписания акта Молотова – Риббентропа или после. Ещё помнится, я всегда радовалась появлению в КОГИЗе книжек про зверушек. Животных я любила. Хотя вблизи с ними не сталкивалась, но зато в книжках! Котята, которые теряли перчатки, сорок четыре веселых чижа, белый пудель, лев и собачка, их нежная любовь, глупый мышонок и его ещё более несообразительная мать – это всё был мир, внушающий доверие и нуждающийся в моем покрови-

тельстве. Хотя уже приходили со страниц книжек животные, у которых можно было чему-то поучиться, над чем-то подумать. Например, Рваное Ушко и его мама-крольчиха Молли. А тем более – Королевская Аналостанка. Это Сетон-Томпсон мне о них рассказал. А ещё были милые, со славными картинками, зарисовки о зверятах Чарушина и Бианки, типа «Никита и его друзья». И замечательный «Воробышко» Горького. Но удивительно другое. Эти простенькие истории знакомили меня с окружающим миром, развивали добрые чувства, но и обогащали мою лексику. Ну, не в четыре года, конечно, но уже лет в шесть, когда я хотела остроумно и кратко объяснить собеседнику, что инцидент обошелся малой кровью, то говорила, что «все окончилось благополучно, если не считать, что мама осталась без хвоста». Этим афоризмом любимого моего Алексея Максимовича я до сих пор пользуюсь.

Но ведь и другое важно: вот это рассматривание, перелистывание страниц, прикасание, ощупывание, откладывание... И наконец – выбор, решение, покупка – одной или даже двух из предложенного десятка. Это ведь тоже формирование личности, её потребностей, интересов. Мне кажется, что у четырех-пятилетнего ребенка, который ежедневно приходит в книжный магазин, чтобы выбрать и купить книжку, и у ребёнка, который два-три раза в неделю ходит с мамой в бутик или косметический салон (даже если в ожидании, пока маман освободится, он разглядывает глянцевые

журналы), вырабатывается разное представление о жизненных ценностях.

Но вот наконец-то мы (или все-таки решала бабушка?) сделали выбор. Покупка оплачена. С пустыми руками из КОГИЗа мы не уходили ни разу. И если новую книжку несли в бабушкиной сумке, то предвкушение удовольствия, которое так украшает жизнь человека, разгоралось в моем сердце? душе? Не важно, в какомместилище горит это чувство, но именно оно делает нас счастливыми. А я испытывала его ежедневно благодаря посещению КОГИЗа. Как ощущала там всегда и необходимый хорошему читателю инстинкт охотника. На книгу?.. За книгой?.. Но была ещё одна особенность в моей читательской биографии. Все эти навыки, чувства, инстинкты во мне развивались, формировались одновременно, параллельно с овладением азбукой.

Да, да... Как раз в эти первые новобытовские не дни, конечно, но если не недели, то месяцы – точно, ещё в неустаканенной обстановке, в нехватке необходимых вещей, с окнами без занавесок (бабушка их делала сама из марли, мережила и туго крахмалила), с раскладушкой Юрия, торчащей в углу вверх козлами, мы с ним выкладываем на стол листы картона, и дядя режет их на хорошенькие квадратики, а бабушка подсовывает нам какую-то коробочку для их хранения. Но я категорически против. Я рассыпаю эту массу по всему столу, все тридцать три картинку (это сегодня я знаю, что их тридцать три). И люблюсь аппетитно нарезанным арбузом, четы-

рехцветным мячиком, широкополой шляпой, встопорщенным ёжиком. А Юрик приговаривает, в зависимости от того, какую картинку я схватила: «Мячик – ммм, ель – е, а ёжик – ё; видишь – две точки...» А уже несколько дней спустя я вижу себя складывающей два мяча и два арбуза в коротенькую строчку (значит, листов картона было несколько, а квадратных больше, чем тридцать три; или рисунки помещались и на обратной стороне). Поглядывая искоса на сидящую рядом бабушку (так? правильно?), я тяну:

– Ммма-ммма – мама!

Сколько длились эти забавы (я их воспринимала, как игры, развлечения, а не учёбу, не труд)? Но, по-моему, уже через месяц я читала по складам «Игрушки» Агнии Барто:

– И-дёт бы-чок ка-ча-ет-ся; у-ро-ни-ли миш-ку на-пол; спит сспо-кой-но сста-рый-слон...

А потом и «Азбуку» Льва Толстого (особенно назойливо мне втемяшивали историю про съеденную без разрешения сливу). Бабушка всё приговаривала:

– Запомни, нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Тексты все усложнялись, новые возникали чуть не каждый день. Простенькие книжки я уже читала в гордом одиночестве, без бабушкиного или дядинового (реже – мамино-го) участия. И, наконец, такие длинные, как «Сказка о глупом мышонке». И уже в КОГИЗе могла выбрать покупку не по картинке, а прочитав название или несколько строчек текста. Лучше всего – рифмованного. А через полгода (год?)

дошло до того, что в нашем домашнем театре под названием «Чтение» амплу полностью переменялись.

Когда театр открылся, в нем участвовал «главный режиссер» – кто-то из взрослых – и начинающий, спотыкающийся актер – я. Время прошло, но хотя число персонажей осталось тем же, я превратилась в приму, солистку, звезду, которая ни в партнёрах, ни в суфлерах, ни даже в режиссёрах не нуждалась. Я довольно бойко, без запинки, почти выразительно читала вслух любые стихи Чуковского, Маршака, Михалкова, недлинные прозаические тексты, вроде «Тёмы и Жучки», купринского «Слона» (нет, в этом рассказе есть некоторые длинноты, отвлечённые рассуждения, вряд ли он подходил для триумфа). Впрочем, успех был мне в любой ситуации обеспечен. Ведь вторая роль при новом раскладе была «зритель». Вернее «слушатель». Исполняла её сплошь и рядом бабушка. Причём слушателем она была не только доброжелательным, но и кровно заинтересованным. От наших «спектаклей» она получала сплошное удовольствие. Сценарий разыгрывался такой: бабушка в столовой занималась неотложными хозяйственными делами: вытирала пыль, перебирала гречневую крупу, нарезала лапшу, лепила пельмени. А я, забравшись с ногами на кушетку (уже купили Юрию вместо раскладушки, время дивана ещё впереди), читала вслух новую книжку. Содержание которой бабушке, как и мне, было неизвестно и поэтому не менее интересно. Которую мы с ней сегодня утром, ну в крайнем случае

вчера, купили в КОГИЗе... Я к чему в десятый раз возвращаюсь? Что новобытовский период был важнейшим, главным, когда происходило превращение меня из гомо сапиенс в представителя особого этноса, называемого «читатель».

К термину «этнос» я ещё вернусь и постараюсь расшифровать его более полно и точно. Сейчас – о некоторых особенностях, которыми отличается «профессиональный читатель» от остального человечества, от других... классов, типов, содружеств. В частности – от потребителей интернета. Но зато объединяется с профессионалами из мира искусств: художниками, скульпторами, архитекторами.

Последние погружены в свою профессию не только за счёт образования. Их влечёт к творчеству особый психологический, физиологический склад (то, что называется призванием). Художника волнует, возбуждает запах краски, разнообразие палитры, удачное освещение. Скульптора – податливость или сопротивление материала, уникальность модели. Архитектора – ландшафт вокруг будущего здания. Со всем этим люди творческих профессий вступают в контакт силой всех пяти чувств. То же самое происходит у читателя.

В таком раннем возрасте я была подключена к книгам, к чтению всеми чувствами. Невиданно расширился зрительский кругозор. Если раньше он включал пять-десять книг, которые я видела в нашем доме, то теперь их количество увеличилось в несколько раз. Но главное – эти походы с бабушкой в КОГИЗ, которые открыли мне всю громадность, неис-

черпаемость книжного мира (а ведь через некоторое время мы освоили и другие источники чтения). Кроме того, переварить эти зрительные впечатления, оформить в понятия, внедрить их в сознание помогали и чисто тактильные ощущения.

Если я до сих пор помню тяжесть «Конька-Горбунка», передаваемого дяде, невесомое шелестение страниц книжонки про «очаг», щелканье картонной обложки «Приключения Макарки», ветерок, когда журнал «Еж» выскакивает из-за пазухи Юрия, то сколько ощущений испытала я, когда, снятые с полок или вынутые из-под стекла прилавка, попадали к нам с бабушкой одна за другой вновь поступившие книги. И вот они высятся целой стопкой. И мы их рассматриваем снаружи, листаем, бабушка что-то резюмирует, откладывает. Я тоже обязательно норовлю не только заглянуть, но и потрогать... И, наконец, получаю в полное владение... Но и тут радость разная: одно дело – книжка-малышка или даже «Козетта» и совсем другое – увесистые, рыжего (золотого!) цвета «Приключения Буратино». От большой, толстой книжки и впечатлений ожидаешь больше, а главное – необычнее. Тем более разгорается любопытство, подстёгивает нетерпение: скорей, скорей домой, узнать про что там, про кого?

А бабушке, видите ли, приспичило зайти в «Маслопром», да ещё стать в очередь за сыром... А я (даже картинку эту представляю в деталях) присела в углу магазина возле стойки с сифонами молочных коктейлей (а не путаю я насчет

коктейлей с шестидесятым годом? Но был же какой-то тихий закуток? Окошечко администратора?). Главное – я сижу на корточках и жадно перелистываю только что купленный «Золотой ключик». Какой-то дядька схватил за нос какую-то странную фигурку... Птичку, наверное... Скорей бы узнать – в чём дело?.. И действительно, уже в этот же день прочитала мне бабушка вступительное слово Алексея Толстого... И про ссору папы Карло и Джузеппе... И описание знаменитой каморки. А странное существо оказалось деревянным мальчиком с длинным носом. В дальнейшем книгу читали вслух все члены нашего семейства, включая меня. Всех она увлекала. Взрослые, пропустившие какие-то куски, спешили подравняться вечером (а может, и ночью, которая у меня начиналась в двадцать ноль-ноль). За две недели мы с «Золотым ключиком» управились, но обсуждали долго, перечитывали отдельные главы, пользовались цитатами («пациент скорее мертв, чем жив», «страна дураков», «девочка с голубыми волосами» – про какую-то красивую знакомую). А ещё помню, как в гостях у Гольдштейнов (о них позже) мама расхваливает «Приключения Буратино» и предлагает взять у нас почитать.

Между прочим, раз я рассматривала книжку в «Маслопроме», значит наступил сороковой – год его открытия. И я уже свободно читала. И наши с бабушкой книжные набеги выглядели несколько по-другому. «Книжками-малышками» и «Книга за книгой» мы уже явно не интересовались – раз-

ве что-нибудь экстраординарное... Однако, кроме покупки «Золотого ключика», я не представляю момента приобретения «Детства Никиты», «Детства Тёмы», «Доктора Айболита» (по Гю Лофтингу), «Путешествие Нильса с дикими гусями», А между тем все эти книжки уже в нашем доме были. И на моей этажерке стояли. Уже прочитанные. С этим задержки не случилось. Приступали в тот же день. Может, такие классические бренды, как «Детство Тёмы» или сенсационную новинку, сотворенную Чуковским из Гю Лофтинга, покупали в свое время, в своем месте мама или Юрий? Из маминых рук я получила как раз несколько таких ярких, знаковых книг.

Приехав в тридцать восьмом в Хреновое (село под Воронежем, где мы с бабушкой проводили лето), мама привезла большую, нарядную книгу стихов Квитко «В гости». И мы с фланелевым одеялом отправились в лес, почитать в тени сосен «про Кисаньку – про милую мою», про бабушку Мирл, «про таких птиц, с такими носами». И, конечно, повесть Беды Балаша «Генрих начинает борьбу», которую мы читали с ней по очереди (пять страниц – она, одну – я) по воскресеньям чуть не месяц, тоже купила мама. И, по-моему, громадный сборник сказок Андерсена. Ещё такие же нарядные, большие, но потоньше «Калмыцкие сказки» и «Черногорские сказки». Андерсен был вне всякой конкуренции, особенно «Дикие лебеди». Но в «Черногорских» мне очень нравились истории про виллис.

Юрий же, отслужив армию (не совсем удачно), отболев, поступив на истфак, продолжал пополнять теперь главным образом свою библиотеку. Его интересовали местные авторы, о которых, вероятно, шли разговоры в пединституте. И «Повесть о детстве» Штительмана, и «Ковёр-самолёт» Кофанова, и «Академик Плющов» Закруткина, и «Волшебная шкатулка» Василенко, конечно, были куплены им. Но они уже и мне оказались интересны и доступны. Особенно «Повесть о детстве» и «Волшебная шкатулка». О! И «Первый ученик» Яковлева. Но и «Ковёр-самолёт», и «Академик Плющов» были прочитаны с некоторой растяжкой, зато в совершенном одиночестве, для себя, «про себя», для собственного... чего? Слово «удовольствие» не подходит. Интерес? Познания мира? Человеческих отношений (между мачехой и пасынком)? Мировой истории (раскопки Трои)? Впрочем, всё равно дядя и о моей персоне не забывал. Книжка детгизовская «О Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который тонкий» Маяковского была куплена специально для меня. Тогда же, кажется, обратил он мое внимание в томике Оскара Уайльда на «Кентервильское привидение» и «Преступление лорда Артура Сэвила».

И всё-таки я неправильно резюмировала, что наши с бабушкой визиты в книжный перестали быть регулярными. Просто возросшие с течением времени и с моим развитием наши претензии все трудней было удовлетворять. На каждодневные покупки издательской мощи не хватило. Правда,

через некоторое время продавцы стали предлагать нам вместо отвергнутых малышковых серий тоже интересный выпуск под грифом «Рассказы зарубежных писателей». Вот это как раз были идеальные тексты для описанной мною схемы: бабушка выполняет мелкие хозяйственные обязанности, а я читаю «Голубой карбункул» Конан-Дойла, «Маленького старателя» Брета Гарта, «Историю дяди торгового агента» Диккенса, «Ванину Ванини» Стендаля. И наконец – море восторга! – «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» Гофмана. Опять низкий поклон составителям этой серии! С каким вкусом, с каким знанием психологии подростка выбраны рассказы. Но и с каким уважением к мировой литературе. Ведь именно тогда, в шесть-семь лет, я впервые услышала эти великие имена, познакомилась с их сюжетами. Запомнила. Сберегла в памяти в ожидании встречи с «Пляшущими человечками» и «Пёстрой лентой», «Счастьем Ревущего Стана» и «Найдёнышем», «Красным и чёрным» и «Пармской обителью». А главное – с «Рассуждениями кота Мура» и полными «Серапионовыми братьями». Вот только рассказ Диккенса не произвел на меня никакого впечатления. Более того – я не запомнила его содержания. Между тем наша великая встреча с Диккенсом ещё предстояла!

Но, между прочим, бабушка, как и я, не хотела возвращаться домой из КОГИЗа с пустыми руками. Конечно, книги, купленные дядей и мамой, мы с ней прочитывали охотно, с удовольствием. Но, может, у её литературных вкусов, ин-

тересов были некоторые особенности? И вот через пару нововбытовских лет у нас появился ещё один библиофильский маршрут. Совершив необходимые продуктовые покупки, посетив безуспешно КОГИЗ (или вообще не заходя в него), мы переходили на противоположную сторону Энгельса (Большой Садовой) и, миновав строившийся (или уже построенный) «Маслопром», заходили в красивое высокое дореволюционное здание (потом узнала – дом купца Сариева). Кажется, четырёхэтажное. Но нам достаточно было подняться на второй этаж. Правда, по очень крутой, да и ещё и с поворотом, и вообще какой-то небезопасной лестнице. А может, всё это были мои фантазии, окрашивающие походы в «другой» магазин неким романтическим светом. Вернее – сумраком. Здесь действительно не было ни громадных окон КОГИЗа, ни его ярких ламп, ни духа нарядности, новизны, исходившего от книжек. Зато была таинственность в их расположении, в их подержанности, в неожиданности их появления на прилавке не только для нас с бабушкой, но даже для продавщицы: «Ой! А вот посмотрите, что я нашла!» – вскрикивала она. Да и продавщица тут выглядела по-другому: менее нарядно, менее торжественно.

Не знаю, когда я осознала, что мы посещаем особый, букинистический магазин. Слово это, наверное, не произносилось, а то бы я об него споткнулась и запомнила. В последующие двадцать лет мы с бабушкой не раз обсуждали наше прошлое, но почему-то ни разу про эти походы на вто-

рой этаж дома Сариева не говорили. А между тем, там были куплены несколько любопытных книжек, которые вносят какой-то штрих в бабушкины пристрастия. Или свидетельствуют о том, что жизнь без ежедневного чтения была для нас обеих смерти подобна? (Слегка сгущаю краски.)

Вот именно там мы купили «Пимокаты с Алтайских» и прочли, сначала чередуясь с бабушкой. Но через какое-то время, все ещё в тридцатые, довоенные годы, я её упоённо перечитывала, про себя, для себя. Что уж так меня увлекло в истории первых пионерских организаций в Барнауле? Лёгкий, ясный язык повести? Искреннее волнение автора? Или моя собственная абсолютная совковость, эта беззаветная преданность всем идеологическим штампам, по которой я в четыре года без запинки перечисляла фамилии всех летчиков, спасавших челюскинцев, в пять, сидя на горшке, сочиняла под траурную музыку из репродуктора стихи: «Прощай, Серго, прощай, Серго Орджоникидзе!», в семь – писала героическую балладу:

(Ну, как? Узнаете влияние Лебедева-Кумача?)

Зато в восемь я уже от слов перешла к делу, ловила и чуть не поймала шпиона. Это уже под влиянием рассказов о пограничнике Карацупе и его храброй собаке Индусе (потом из соображений толерантности превратившейся в Ингуса) и рассказа «Слепой гость», который читали по радио.

Но вернемся к повести «Пимокатам с Алтайских», так мне любившейся. Она пропала с большинством моих книг

во время войны. Но я её всегда помнила. И горько сожалела, что не знаю фамилии автора, чтобы спросить в библиотеке, взять, перечитать. (О библиографических отделах я узнала много позже.) Но в восьмидесятые годы, когда я и о пионерах, и даже о Барнауле, в котором побывала в «оттепель», давно забыла, книгу переиздали, я её купила. И подарила внукам, которым уже никакого пионерства не досталось. И читать они её не стали. Зато я узнала, что написала об алтайских пионерах не больше не меньше, как героическая Ольга Берггольц. Вот откуда так присущая ей и так завораживающая меня искренность, взволнованность.

А ещё купили мы с бабушкой в букинистическом такую же небольшую, квадратную, как «Пимокаты», книжечку «Маленькие товарищи». Если Берггольц дала своей повести название, скрывающее, маскирующее ее идеологический настрой, то «Маленькие товарищи» получили от издательства ещё и алый переплет. Чтоб читатель не сомневался – речь не о каких-то товарищеских посиделках, а о настоящей революционной дружбе. Это действительно оказалась история подпольной юношеской дореволюционной организации. Впечатление осталось умеренное. Впрочем, тогда я вбирала, впитывала абсолютно всё. Но раз чувства мои не дрогнули, значит, литературный уровень был невысок.

Что удивило: имена героев, ситуации их жизни сильно напоминали ту линию «Рождённых бурей», которая касалась молодежи. И тут, и там среди подпольщиков был парень

Андрей, еврейская девушка Сарра... ещё имена совпадали? Или события? Удивительно другое – откуда повод для сравнения? Вроде «Рождённые бурей» я читала позже? Или это я «Маленьких товарищей» перечитывала уже в сороковом году? И кто написал? Кто издал эту революционную книжку? (И тут помог интернет – автор Анна Кардашова.)

А ещё одной книги, приобретённой в букинистическом, я даже названия не помню. В нём участвовало имя главного героя – Коля. Действие происходило в день Колиного рождения и сопровождалось событиями, претендующими на приключения, драму, но явно на них не тянущими. Что-то в духе, стиле Чарской, которая открылась советским девочкам в годы войны. Но – не Чарская. Хуже. Так и ушла в небытие. Кстати, таких мелькнувших в детстве книг, неуточнённых, неопознанных, которые перечитать из-за этого невозможно (да и запал исчез), у меня было несколько. Например, «Петербургский приют» – странная книжка, большая, серая, в толстом картонном переплёте. Читали мы её (наверное, бабушка читала мне, такая была ситуация) в Батуми, летом тридцать девятого года. Описание мрачных будней дореволюционного приюта. Особенно шокировала ситуация, когда приютский пахан использует мальчика-идиота Ганю в качестве личного кресла-качалки. (Снова на помощь пришла глобальная сеть: автор повести 1935 года – Алексей Абрамович.)

Ещё вертится в голове одно название, без сюжета – «Гой

Дальбак». Связано это с детской библиотекой на Пушкинской. Кажется, книжка даже не попала ко мне для прочтения, а только на просмотр. И чьи-то разговоры... о ней? Это имя героини? Вроде бы... Маячит образ девушки, какой-то особой внешности, в особом платье... Не обязательно красавицы. А в какой стране происходит действие? В Скандинавии? Так хотелось все это узнать. Не пришлось. (Гугл подсказывает: Гой Дальбак – норвежская девочка-подросток, бедная, но добрая и весёлая. Историю о ней придумала вполне советская писательница Надежда Дмитриева в 1934 году. Да здравствует интернет! Великий справочник! Корректор! Секретарь!).

А вот книжечку «Да здравствует Лефланшек!» Михаила Гершензона мы читали с бабушкой по очереди в Кабардинке. Это был роман о жизни то ли бельгийских, то ли скандинавских портовых рабочих или рыбаков. Лефланшек был каким-то профсоюзным лидером. Сюжетных подробностей не помню. Кроме единственного эпизода: второстепенные персонажи, дети восьми-десяти лет, собираются, зажав в зубах монетку, донырнуть до подводного города Винетты, купить там любую мелочь – и город поднимется из моря. А я ведь уже знаю про этот город. Из «Путешествия Нильса с дикими гусями». А ещё позже прочту в толстом сборнике бродячих международных легенд, который мне вручат в детской библиотеке на Пушкинской... Зато откажут в «Гой Дальбак».

Вот я и вышла к этой теме, библиотечной. И к этому году, сороковому, последнему предвоенному. Про посещение книжных магазинов можно закончить. Тут уже всё ясно. Мы в них всё так же ходили. Может, не ежедневно. Потому что и библиотека наша увеличилась, и книги меня интересуют уже другого уровня и (между прочим) размера. И читаю я почти свободно – и вслух, и «про себя».

Нет, не про библиотеку надо рассказывать. К этому источнику книг я приобщилась только в сороковом году. А вот в тридцать девятом, насколько я могу сопоставить в памяти факты, чувства, обстоятельства, впервые пересеклась моя дорожка с... Сейчас, сейчас...

Я уже об этом писала однажды: про дружбу двух семей на протяжении четырех поколений. Последний отзвук этих отношений задел и меня. В разные годы, в разных контекстах. Несколько раз меня вплотную подводило к человеку, который мог стать моим руководителем, наставником в жизни. К Валюше Гольдштейн. Она была восемью годами меня старше, окончила филфак МГУ, стала профессиональным литературоведом. Мы пересекались в Ростове, Вологде, Москве. До войны, во время, в мирные и даже в оттепельные годы... Мы общались очень тепло, нас тянуло друг к другу. И тут же уводило в разные стороны житейскими ситуациями. Оставив, впрочем, след дружеского прикосновения, родственного тепла.

Ну, может быть, ещё несколько мудрых советов мне от неё

перепало (советам никто никогда не следует). А вот как раз в тридцать девятом – сорок первом году, в мои шесть-восемь лет, я получила из рук Валюши мощный толчок в мои представления о жизни. Как раз через книги. Опять через них!

В доме Гольдштейнов у четырнадцатилетней Валюши была собственная комната, что произвело на меня неизгладимое впечатление. И собственный книжный шкаф, что называется, «битком набитый».

Нет, порядок событий был другой. Сначала мама или бабушка во время одного из дружественных визитов пожаловались на моё книгопоглощение (ещё косвенное или уже прямое?). И кто-то из взрослых (Валюшин отец, дядя Эмма?) обратился к дочери:

– Ты бы подобрала что-то девочке.

И тогда я увидела эту комнату с персональным письменным столиком. Эти зелёные шторы с внутренней стороны стеклянных дверей шкафа. И все пять? шесть? полок, уставленных книгами. А потом уже в течение двух или полутора лет, оставшихся до войны, получила из этого шкафа такой внушительный заряд – сведений, впечатлений, чувств. И поводов для размышлений, и разговоров. И со своими домашними. И с той же Валюшей. В разное время и в совершенно необъяснимой последовательности я унесла от Гольдштейнов в «Новый Быт» такие разные книги, как «Кондуит и Швамброния» Кассиля, «Маленький оборвыш» Гринвуда, «Республику ШКИД» (а авторов уже репрессировали?), «Ро-

бинзона Крузо», «Гаргантюа и Пантагрюэля» (адаптированную для детей) и «Тома Сойера – сыщика». (Вот эту-то точно последней, в сороковом или в начале сорок первого года, уже будучи знакомой с приключениями Тома и Гека). Может, Валюша давала мне и другие книги, но мне запомнились, произвели неизгладимое впечатление именно эти. Буду говорить о них. Сегодня с полной достоверностью не знаю, как были читаемы эти толстые, вполне взрослые томики? Которые если издавались «Детгизом», то с грифом «для детей старшего возраста» (в крайнем случае – «среднего школьного»). Так вот – мне их читали вслух? Или вслух поочередно со мной, как было уже описано? Или я – самостоятельно? Скорей всего – в разное время по-разному.

Предположительно это началось зимой сорокового – и нехватка магазинных покупок для моей разгоревшейся потребности в чтении, и разговор о моем книгоглотательстве в гостях у Гольдштейнов. Возраст мой – шесть с половиной. Осенью мне в школу. И ещё надо учитывать не только степень моего умственного развития, но и представление о нем у моих домашних. А они всегда оценивали меня более чем трезво. Поэтому «Кондуит и Швамбрания» читалась мне вслух по очереди всеми взрослыми членами семьи. Почему-то я убеждена, что это была первая Валюшина книжка, попавшая к нам в дом. Я сужу и потому, что долго она у нас гостила, – не днями, даже не неделями. Месяцами? Ну, не одним. И как разговаривают о ней взрослые, помню. Вече-

рами, за ужином. Пересказывают смешные места (про Оську-путаника, его разговор со священником; и я уже знаю – о чём речь). С другой стороны – я живо представляю иллюстрации в «Швамбрании»: карты вымышленного государства, того же Оську на скамейке с попом, вытарщенные глаза «глядельщиков», проезд по школе на партах. И соответствующие куски текста вижу, шрифт, поля. Скорее всего, читая мне Кассиля вслух, взрослые прочитали её каждый про себя. Но и меня увлекательный текст подтолкнул, активизировал. И я не только услаждала бабушкин слух страницами походов Лёлки и Оски. Скорее всего, было не так... Я «Швамбранию» не дочитывала самостоятельно, а перечитывала. Я уже знала всё, весь сюжет, все события, все победы, все ошибки героев, но снова и снова вникала в ситуации, смеялась удачным шуткам и розыгрышам, давала героям и их поступкам собственные оценки, может, не совпадающие с оценками моих взрослых.

Что-то похожее, в смысле освоения, постижения книги происходило с «Маленьким оборвышем» Гринвуда. Её также читали мне, потом со мной по очереди и, наконец, я её перечитывала. И не раз. А может, и не два. Конечно, и «Швамбрания», и «Маленький оборвыш» были новой ступенькой в моем постижении мира. Все до этого прочитанные мне (и кое-как мною самою) томики находились в пределах моего умственного и эстетического кругозора: обширный выбор сказок (сделаем исключение для Уайльда), сти-

хи талантливых, но безусловно детских поэтов (не исключая обэриутов), рассказы, повести из жизни детей до революции (без революции). Даже такие объемные, талантливые повести, как «Детство Никиты», «Детство Тёмы», были всего лишь бытовыми сценками семейной жизни, пусть даже дореволюционной, но рассмотренной не под социальным микроскопом, не с политэкономическим арифмометром, а доброжелательной памятью повзрослевшего героя. Это прекрасно, что они были, уцелели, появились именно такими! Не были внесены в знаменитые списки вредных книг Надеждой Константиновной.

Но страницы «Кондуита и Швамбрании» дышали, кипели атмосферой истории, всё там было царапающее, неожиданное – ситуации, конфликты. И кстати – стиль, жанр.

Между прочим, «Республика ШКИД» была очень близка к «Швамбрании» по мысли и содержанию. Но почему-то произвела меньше впечатления. Я уже засомневалась – не попала ли именно «ШКИДа» мне в руки первой и просто оказалась сложновата и скучновата для шести лет? А вот «Маленький оборвыш» был именно «то». Какое открылось совершенно неизвестное историческое и географическое пространство! С такими понятиями, как «ночлежный дом», «работный дом», профессия и даже целая гильдия трубочистов. А тут ещё история с похищением трупов и продажей их нелегальным анатомам. Когда я летом сорокового года прочитала в Кабардинке «Приключения Тома Сойера», то

уже была готова к кладбищенской истории с индейцем Джо.

Но ведь Гринвуд к тому же подробно исследовал внутренний мир мальчика-бродяги, формирование его психики, нравственности. Как это было интересно! Чёрт побери! Я вот только сейчас поняла, что ещё в этом, шестилетнем возрасте проявились мои истинные литературные пристрастия – к психологической прозе на фоне повседневной жизни. Ведь «Робинзон Крузо» и особенно «Гаргантюа и Пантагрюэль» увлекли меня значительно меньше. А может, не меня, а моих «читчиков», которые уже знали содержание и читали кое-как? Хотя, «Гаргантюа» откуда? Или скучновато было и для бабушки? Но, во всяком случае, великие имена уже в моих ушах прозвучали. Иллюстрации Доре впечатления произвели. И след на песке человеческой ноги в «Робинзоне»...

Что касается «Тома Сойера – сыщика», то его я, конечно, читала сама, про себя, в сорок первом году, потому что помню скромный вид книжки, её потёртость, дешёвую бумагу, тусклый шрифт. Но мой интерес от этих недостатков не ослабевает. Ещё бы! Это же продолжение двух главных книг марктовеновской серии про дружков из Питсбурга! Которые я прочла прошедшим летом в Кабардинке! Вот про этот, совершенно новый, особый этап моего чтения – особо.

Я уже писала когда-то, что одно из жизненных правил моей матери было – ребёнок должен проводить лето на природе. Из нескольких опробованных вариантов был в конце

концов выбран наилучший: бабушка устраивается на летний сезон работать в какую-нибудь здравницу, а я пребываю при ней. Это способ подходил нашему семейству и по протяжённости, и экономически. И был использован в моем детстве четырежды. Первый раз, в тридцать седьмом году, бабушка работала медсестрой всё лето в майкопском доме отдыха. Хотя мне было всего четыре года, я получила за эти месяцы массу впечатлений, особенно от экзотической природы и уникальной обстановки. Дом отдыха располагался в горах, в бывшей монастырской обители, с громадным садом, пасекой, специальным цветочным лугом для пчёл, коптильней и хорошо сохранившимся храмом (правда, высоко в горах). Но мне хватало места для блужданий и внутри монастырской ограды. И какие-то подружки у меня завелись: двоюродные сестрички Ира и Мика (Микаэла?), приехавшие с мамой одной из них в качестве отдыхающих, и дочка домотдыховского завхоза с необыкновенным именем Малинка.

Но вот книг в этом райском местечке я не помню. Наверяд ли они полностью отсутствовали. Просто до самостоятельного чтения я ещё не созрела, хотя буквы точно знала. А бабушка только входила в подзабытые обязанности медсестры, ей было не до чтения. Нет, что-то где-то мелькало. Она мне читала. Но эпизодически.

Зато два года спустя (или три? в сороковом) накопив информационного опыта, мама (а я уверена, что эти занималась именно она) устроила бабушку на работу в элитный са-

наторий на самом берегу Чёрного моря. Ощущение комфорта кабардинской жизни было даже у меня, семилетней девочки. И отдельная комната для нас с бабушкой (так же жили все медсестры с детьми, врачи – тем более). Крытый пляж с солярием. Комплекс громадный водных и физиопроцедур как раз рядом с нашим жильём. А море только что ступеньки у нас не обмывало. И кормили отлично. Хотя какой-то сдобной булочкой отдыхающий мальчик со мной поделился (персоналу их не досталось). Но это уже был перебор всеобщего благополучия и взаимной любезности. Был в санатории и большой, комфортный клуб. А в нём и самодеятельность отдыхающих и сотрудников – вполне приличная. И приезжавшие на гастроли чуть ли не столичные артисты. Но главное – ежедневное кино! На открытом воздухе, на берегу моря. И мы, дети персонала, устроившиеся на песке, перед первым рядом, чтоб лучше видеть все эти победы над басмачами в пустыне, лучше слышать все песенки Чарли Чаплина, все куплеты Целиковской. И друзья у меня в Кабардинке завелись настоящие. Кроме мальчика-отдыхающего, приехавшего с мамой на месяц (это была семья погибшего летчика! Я только что сообразила, почему так много было военных в санатории, – это были участники позорной финской кампании; было им где истрепать нервы!), я за пять месяцев крепко сошлась с детьми главврача, восьмилетней Литой (Аэлитой) и пятилетним Генрихом. Этот хоть годами не дотянул, зато лазать с ним по деревьям было одно удовольствие. К со-

жалению, он всегда оказывался выше – весил мало и тонкие ветки под ним не гнулись.

Но все плюсы кабардинской жизни меркли перед главным удовольствием, которое находилось в том же клубе. Только дверь была с тыльной стороны здания. Зато открыта ежедневно и непрерывно. Так мне казалось. Это была библиотека.

Опять я что-то фантазирую. Потому что картинки моего визита в библиотеку, не только самостоятельного, но даже с бабушкой, у меня в памяти нет. Вот дверь приоткрытую помню. Скорее всего, бабушка ходила туда без меня и книги выбирала по своему усмотрению. И, возможно, по совету библиотекаря. Ну, что ж, низкий им поклон! Во всяком случае, перерыва в моем – чём? просвещении, развитии, душевном обогащении? – не было. В нашей комнате всегда присутствовала библиотечная книга. И каждый день она была «читаема». Утром, днём, вечером – первые месяцы это определялось графиком бабушкиных дежурств. А каким образом? Это зависело от сложности книги.

Я уже писала – «Да здравствует Лефланшек!» читала ещё бабушка. Я в неё и не заглядывала. Прочла всю до конца? Не уверена. Все-таки было в ней на вид страниц двести – сто пятьдесят. Неужели не нашлось ни единого запоминающегося эпизода, кроме ныряния с монетой? Видимо, бабушка почувствовала, что не в коня корм, и дочитывала уже в одиночестве. Похожая история повторилась с «Тридцатилетней

женщиной» Бальзака. Кстати, в этом случае я не запомнила не только автора, но и названия. Зато знаю, что был какой-то тревожный эпизод в запертой каюте корабля, в открытом море. Что-то происходило, какой-то конфликт между женщиной и пиратом (про пиратов я уже знала из Гью Лофтинга). Пират угрожал, женщина пускалась на хитрости. Но всё равно было скучновато. Тут бабушка, видимо, ознакомила свою промашку и принесла для меня что-то другое. Я тут же выбросила историю с пиратом из головы. А девять или десять лет спустя, когда подписалась на Бальзака, получив соответствующий том, вспомнила Кабардинку, опознала анонимного автора и анонимную повесть.

Что вместо Бальзака принесла мне бабушка? Судя по тому, что какое-то время она читала мне вслух, скорее всего, это были «Дети капитана Гранта». Мы как раз зимой или весной посмотрели фильм. И пришли в восторг. Все посмотрели. Весь Союз. И все напевали «Жил отважный капитан». А ещё – «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». Занимательно, весело, празднично! Сплошные приключения! Книжка оказалась суше... Скучнее? Нет, это слово не подходило. Но требовала внимания, терпения. И от бабушки. И от меня. Она настойчиво читала мне ежедневно. Кусок за куском. Главу за главой. И постепенно втягивалась... То, что знала сюжет, помогало или мешало? Скорее помогало. Все мои невеликие умственные способности направлялись на подробности. Я наливалась знаниями географии, биоло-

гии, астрономии. Но и моё представление о людях, их характерах, взаимоотношениях расширялось, усложнялось. И Роберт, и Паганель, и Джон Манглс, и сам капитан Грант предстали не условными исполнителями определенного набора ампула, а реальными людьми. Хотя и не был Жюль Верн мастером психологического анализа. Даже Мария Луиза Раме рассказала мне больше на тридцати страницах о мальчике Нелло, его внутреннем мире, чем Жюль Верн о Роберте Гранте в целом романе. Но, во всяком случае, всё у автора так хорошо сочеталось, сплеталось – приключенческое с реалистическим, быт с природными катастрофами. И с политическими обстоятельствами. Очень интересно было слушать. А постепенно и самой читать вслух, сменяя бабушку. И тренируя свою беглость.

А бабушка стала приносить из библиотеки книги более разборчиво. Может, ей помогала заведующая. А может, уже вмешался в подбор литературы для меня дядя? Он приехал в Кабардинку в конце июля на лечение. Жил в корпусе, но почти всё время проводил со мной. Хотя срок его путёвки – двадцать четыре дня. А я-то провела в санатории пять месяцев и познакомилась за это время не только с Жюлем Верном. («Таинственный остров» следующим летом или вообще в школе?) Ещё читали мы по очереди с бабушкой «Человека-невидимку» Уэллса. И... вот оно! Наконец-то... Вот первая встреча – «Приключения Тома Сойера»! И подряд, следом – «Приключения Гекльберри Финна». И, меж-

ду прочим, большую часть этих книжек – «про себя». И для себя. Хотя порой снисходила к бабушкиной просьбе, когда её одолевали бытовые проблемы. Но это уже в порядке исключения, одолжения. Вот, может, эти книжки выбрал для меня нагрянувший Юрий. И ещё pendent к ним «Воспоминания американского школьника» Томаса Олдрича. Эта малоизвестная книжка (за все мои детство и юность я встретила её однажды) монтировалась с марктовеновскими повестями содержанием, ещё была проиллюстрирована хорошими гравюрами. Жизнь провинциальных американских городов прошлого века я теперь представляла отлично. Для меня потом книжка Олдрича была таким же загадочным воспоминанием, как рассказы Уйды. И я... так же была счастлива в девяностые (или двухтысячные годы?) встретить её переизданной, приобрести для внуков, перечитать и не разочароваться.

О Марке Твене и говорить нечего. «Том Сойер – сыщик», которого я буду читать через полгода, послабее. Но приключения Тома и Гека, выпавшие мне в Кабардинке, – это не просто увлекательное чтение, это (sic, школьные литераторы!), великолепнейший материал для домашних сочинений на любой возраст (от двенадцати до шестнадцати лет; а в какую охотку дети кинутся их писать!), в любых аспектах: сюжетных и философских. В этих повестях удивительно переплетаются насыщенность событиями, занимательность и ненавязчиво, но неотступно возникающие вопросы этиче-

ского плана к читателю, которые он просто обязан разрешить. Я в свои сорок с лишним лет была безмерно удивлена и тронута, когда мой десятилетний сын, читая «Приключения Гекльберри...», возмущался издевательствами, которые придумывал Том для псевдоосвобождения давно свободного Джима. Ведь я-то в детстве пропустила мимо сознания эту дешёвую развлекаловку с риском для чужой жизни. Так была увлечена подбрасыванием ложек и простыней тёте Салли. И никто моего внимания на этот моральный дефект в личности Тома не обратил. Не за всем успевали уследить мои воспитатели!

Но зато ещё одну важную книжку они мне предоставили летом сорокового! Вот это точно Юрий из библиотеки притащил. И мы с ним читали по очереди – и на прогулках по горам, и на пляже – рассказы Джека Лондона. Кажется, «Киш, сын Киша», «Отступник», «Любовь к жизни». Аппетитный довесок к главному пиру. Вполне по возрасту. Не то что Бальзак!

* * *

Короче, когда во второй половине августа я с дядей возвращалась в Ростов (мне предстояло поступление в школу, а у бабушки ещё продолжался рабочий сезон), то была совсем другим существом, чем то, которое в апреле уезжало на «свежий воздух». Конечно, выросла на несколько сантиметров. Окрепла и закалилась – все эти часы на пляже, в море (Юрик в два дня научил меня плавать, до флажка

доплюхивала), лазанье по деревьям, одинокие путешествия в «поселок рыбаков» с перепрыгиванием через небольшие расселины, коллективные прогулки в горах (как всё это мне помогло пережить в недалеком будущем военные тяготы!). Во всяком случае, к любым школьным перегрузкам я была физически готова.

Но главное не в этом. В августе сорокового мне были не страшны никакие правила приёма в школу с восьми лет. (Мне недавно исполнилось семь, и мои домашние боялись отказа). Если бы мне вдруг устроили проверку, то я бы продемонстрировала свободное выразительное чтение любого незнакомого текста, его отличное понимание, способность тут же пересказать. Знание наизусть десятков стихотворений. И не только детских, но и Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, и даже Блока (был сборничек из серии «Книга за книгой»)! Я могла рассказать про гражданскую войну в Испании и про борьбу немецких коммунистов с фашизмом («Генрих начинает борьбу» был уже нами с мамой прочитан). И про Великую французскую революцию, и про Парижскую коммуну («Марсельцы»! А про коммуну что? Я, невежда, вероятно, к ней Гавроша относила). И про бедных американских негров я всё знала. Ведь (вспомнила!) Валюша мне ещё и «Хижину дяди Тома» давала. Но до школы? Или в первом классе? Но уже и Марк Твена достаточно!

Короче, 45-я школа получила ученицу вполне грамотную, «образованную», может, несколько развязную?.. само-

уверенную?.. Нет! Меня всё-таки хорошо воспитывали. Редко хвалили. Замечали все промахи и ошибки. А на попытки самодовольства у бабушки была любимая поговорка: «Кому много дано – с того много и спросится».

Но сегодня я не эту свою «продвинутость», не эту свою «сверхподготовку» к школе считаю главным положительным итогом семи дошкольных лет. А то, что любое из вышеперечисленных увлекательных кабардинских занятий, включая кинофильмы про басмачей и храбрых пограничников, любые круглогодичные ростовские удовольствия: дворовые игры, поход с мамой в кафе, визит подружки – я если не готова была в любой момент прервать, то уж отложить, заменить чтением только что появившейся или даже старой, но любимой книжки – да, да, да! Читатель с большой буквы, читатель как будущая профессия, уже вступал в свои права. Книги притягивали меня тем, что как бы подробно и красочно ни расписывал мне автор характеры героев, детали их биографий – всегда оставалось место для моей фантазии, моего истолкования, моих аналогий, моих споров, возражений. Пусть даже не случившихся, как при чтении «Гекльберри Финна», – но они были. И они пробуждали какие-то совершенно особые свойства моего существования, которых во мне раньше не было. Или они дремали. И безусловно, без чтения новых, взрослых книг они никогда бы не проснулись.

* * *

Осталось пересказать последний год моей довоенной жиз-

ни. Хотя он пришёлся на первый класс, я отношу его к дошкольному периоду. Потому что перемены и в моих жизненных обстоятельствах, и в моей личности если и произошли, то плавно-незначительные. И даже в той сфере, о которой я пишу – в моих отношениях с книгами, – движение вперед и вглубь оставалось вполне равномерным, соответствовало и количеству протекающего времени, и процессу развития моего организма.

О, более того! Каким-то образом мои читательские запой сократились, обмелели, что ли? Особенно в первые два школьных месяца, пока бабушка не вернулась из Кабардинки. Мама с трудом справлялась со службой. Нет, со службой – хорошо, а с вот с упавшим на ее плечи хозяйством – не совсем. И возникали мои школьные проблемы (тут подключилась соседка Екатерина Ивановна, к которой я и до школы ходила в «группу» (такой частный «получаг»). Она меня в школу отводила, приводила. Я у неё делала уроки. Кажется, в школе мною были довольны – вот когда помогала моя начитанность! Но для хождения по книжным магазинам, по дружеским библиотекам, для полутора-часовых смакований «Генриха, начинающего борьбу» времени у матери не было. Юрий иногда что-то покупал, говорил, подсовывал, но тоже был озабочен выше крыши. Да я и сама была загружена не только чисто физически – посещение школы, выполнение домашних заданий, – но и психологически: новый ритм жизни, неизвестные проблемы, целый

класс незнакомых детей, выбор приятелей, потом – друзей. Конфликты с не приятелями (пишу слово отдельно, врагов не случилось, а вот конфликты с одноклассниками бывали). К счастью, учительница у нас была замечательная, старушка Надежда Ивановна, ещё с дореволюционным образованием педагогического класса гимназии. Кстати, она нам иногда на уроках читала какие-то небольшие классические рассказы вроде «Тёмы и Жучки». И я в ней ощущала родную душу.

А в начале ноября вернулась из Кабардинки бабушка, и всё немного устаканилось. В доме воцарился идеальный порядок. В КОГИЗ мы, конечно, ежедневно не ходили. Но книги появлялись постоянно. Чаще всего их покупал Юрий (я уже писала про местные издания). Ну и возобновились поступления из Валюшиной библиотеки (она, кстати, училась со мной в одной школе, в девятом классе). Вот тогда я обрадовалась продолжению приключений Тома Сойера. А может, именно в этот год мы читали с бабушкой «Хижину дяди Тома». Чтение постепенно опять отхватило значительный кусок моей жизни. Пусть новые книги попадали к нам в дом реже, но все они были объёмными и довольно сложными (нет, не то слово, взрослыми – больше подходит). Но я бы их и сама осилила (опять неподходящий глагол), насладились ими. Однако, они были интересны и бабушке. И именно в этот год утвердилась лет на пять (с перерывами по семейным обстоятельствам) эта система: я читаю вслух, она выполняет мелкие бытовые дела и слушает. Но теперь

случалось, что я забежала вперёд, увлеченная сюжетом, а потом повторяла для бабушки уже известный мне отрывок.

Вот так и прошли остаток осени, зима и начало весны. И ворвались в мою жизнь новые обстоятельства. Почему я настаиваю на весне? Потому что свои одинокие путешествия по Пушкинскому бульвару я помню исключительно как прогулки по тёплому, солнечному воздуху, с присаживанием на скамейки под деревьями с набухшими почками или с густой, но очень свежей листвой. Особенно долго отдыхала я на обратном пути, когда разглядывала новополученную книгу. А то и прочитывала маленький рассказ, сказку, две-три страницы из повести. Апрель – первая половина мая, не позже. Потому что в конце мая мы уже опять были в Кабардинке.

Кто меня надоумил записаться в детскую библиотеку? Юрий? Учительница Надежда Ивановна? Мама? Почему-то бабушка мне тут не подходит. Во всяком случае, записываться туда я ходила одна. Но я ведь и в школу, куда более далёкую, чем библиотека, со второй четверти добиралась без сопровождающих. Переходить же опасный Ворошиловский надо было в обоих случаях. А в школу трамвайную линию ещё и повторно. В библиотеку же – неполные два квартала по благоустроенному бульвару. Помню, что, не доходя Семашко, у каких-то прохожих спросила, и мне указали на красивый подъезд. На второй этаж по крутым ступенькам поднималась неуверенно. Что меня тревожило? И в дей-

ствительности – как происходила запись? Ведь для того, чтобы стать официальным читателем любой библиотеки, кроме самых сильных желаний и даже высочайшего читательского уровня потребен был какой-нибудь официальный документ. Скорее всего – мамин паспорт. Неужели мне его доверили для святого библиотечного дела? Не исключено. А может, я в первый раз ходила в одиночестве (в этом не сомневаюсь, так живо помню незнакомость и тревожность ситуации!) – на разведку. Поговорила с библиотекарем, получила разъяснения и через пару дней (в мамин выходной) пришла с ней записываться. Это возможно. Но второстепенно. Главное, что передо мной открылся новый... канал – нет, сухо, ручей – мелко, склад – казённо, пещера Аладдина – претенциозно, преувеличенно.

«Пещера Аладдина» случится в моей жизни, но четыре года спустя. Сегодня – просто дополнительный источник книг с дополнительными впечатлениями, которых я доселе не знала. Даже в Кабардинке. Ведь там книги выбирала бабушка. Теперь – я сама. Правда, не без помощи работников библиотеки. А какие именно? В те месяцы вклад каждой конкретной книги в моё формирование, в мою жизнь, был не только прямо пропорциональным их возрастающей толщине, но зависел от таланта автора, от сюжета, от совпадения моего и писательского настроения, от тысячи случайностей и закономерностей, благодаря которым я до сих пор вспоминаю почти все книги, которые я принесла в эти полтора меся-

ца в «Новый Быт». Между прочим, мне кажется, сейчас подходящий случай объявить, что названия и содержание всех книг, которые мне читали и которые я читала сама в детстве, я действительно помню так подробно, включая стихотворные строчки, что никуда заглядывать, ничего разыскивать мне не надо. Это ещё одно доказательство в пользу раннего чтения.

Итак! Какие же библиотечные книги? Кроме мифической «Гой Дальбак», которая мне не досталась, отчетливо помню «Карла Бруннера». Повесть того же Белы Балаша, что и «Генрих начинает борьбу», которую мы уже с мамой прочитали известным способом: мама пять страниц, я – одну. И которая уже числилась самой любимой книгой в моей подростковой библиотеке. Несмотря на полное идейное и очень близкое сюжетное тождество обеих повестей (Бела Балаш, венгерский коммунист, специализировался на описании борьбы антифашистского подполья с гитлеровским режимом), «Карл Бруннер» увлёк меня меньше. Может быть, потому что с семи-шестилетним Генрихом мне было легче себя ассоциировать, чем со взрослым Бруннером. И можно было сколько угодно вообразить себя совершающей все его подвиги. Не хватало разве верного пса Вольфа и мерзких шущманов-штурмовиков. Ничего, пусть только сунутся. «Мы не дрогнем в бою, за отчизну свою...». Я-то понятия не имела про пакт Молотова – Риббентропа. А что же в библиотеке чистку не произвели?

Ещё принесла я домой из библиотеки на Пушкинской несколько превышающую мои читательские и мыслительные способности толстую, тяжёлую книгу в твёрдом картонном переплёте: «Герои и мученики науки». Почему мне её выдали? Я позарилась на неё сама на каком-нибудь стенде или в стопке свежесданных книг? Или библиотекарьше захотелось поддержать мои претензии на чтение не по возрасту? Или, наоборот, остудить их трудноперевариваемой книгой? Но та пришлась мне весьма по душе. Тем более что в её освоении приняла активное участие мама. Она сама её какими-то ночами (днём мама дома практически не бывала) прочитала. Что-то мы читали по очереди вслух уже по принципу два/один). Но главное – разговоры о Копернике, Галилее, Джордано Бруно. Выяснение, кто из них достоин подражания? Какие-то подробности о Пастере, Пауле Кохе, которых не было в книге, но о которых знала мама. И тут же, именно в тот же день, извлекла она откуда-то серенькую книжку, вроде бы среднеарифметического формата, но как-то экономно обрезанную, вплоть до текста, убористо напечатанную на газетной, сурового времени тридцатых годов, бумаге. Не помню, то ли мама прочла мне из книжки отрывки? Или я взялась за неё сама? Вряд ли. Для восьми лет трудновато и скучновато. Но в таком виде и в такое время «Охотники за микробами» Поля де Крюи вошли в мою жизнь впервые и навсегда. Стали непременным участником моей биографии. С ними периодически что-то приключалось. Один экземпляр про-

пал при глобальном катаклизме войны. Другой терялся при переездах. Третий кем-то зачитывался. Но через некоторое время возникали новые, то в качестве подарка отца с его комментариями от руки на полях по поводу случившейся кончины Ру, то с букинистического прилавка, то вынырнувшее из груды домашнего хлама. Но всегда именно этого же, 1932 года издания. Как будто их издали единственный раз, но зато миллионным тиражом.

А между тем другие работы де Крюи выходили и в конце 30 – начале 40-х, и в 50-е, и в 60-е годы. «Стоит ли им жить?», «Борцы со смертью», «Борьба с голодом», «Борьба с безумием» – иногда под именем Пауля Крафта. К семидесятому году они уже были собраны у меня в доме, стояли на отдельной полке. Определенные как гимн человеческому гению и гуманизму. Тысячу раз рекомендованные, может быть, даже навязанные для прочтения друзьям, знакомым. А особенно детям. И своим, и чужим. И внукам... А вот сегодня не обнаруженные среди семи тысяч томов моей библиотеки. В ужас я по этому поводу пришла. Куда девались? Скорей всего, сама раздала детям, внукам, когда разъезжались по своим судьбам, городам, квартирам, когда комплектовали свои библиотеки, а я в ажиотаже стремилась не допустить пробелов в развитии грядущих правнуков.

Правнуки появились. Книги Поля де Крюи сохранились ли? Служат свою службу? Но вот в моём доме они живы. В моей памяти. И не просто сохранились. Во-первых, ак-

тивно участвовали в формировании жизненной философии. Ничуть не меньше, чем сакраментальный «Мцыри». Если по лермонтовскому тексту я училась гордости, мужеству, свободолюбию, то «Охотники за микробами» были учебником тех же качеств, но не в абстрактном, отвлечённом виде. «дружбы краткой, но живой меж бурным сердцем и грозой»; а в бесконечном повторении однообразных опытов, в способности найти истину наперекор установившемуся мнению. Не в экзотических схватках со свирепым барсом, а в изучении с помощью микроскопа при лабораторном освещении крошечных существ, которые, если исследователи их вводили в собственный организм, оказывались в сто раз опаснее не то что барса, но даже льва...

А как описывает работу микробиологов Поль де Крюи! Какие находит слова, как волнуется сам и как заставляет волноваться читателя! Как будто и тот, и другой в экспериментах Пастера, Коха, Эрлиха участвуют, сомневаются, рискуют, терпят неудачи – и побеждают в конце концов. Или гибнут.

А ещё через эту книжку, между её строк, я прочитала историю знакомства моих родителей на эпидемии чумы, определила, хотя бы частично, их характеры, особенности их личностей. Ведь не случайно в мою библиотеку один за другим попадали уже прошедшие через их руки экземпляры «Охотников за микробами»...

Но что-то я разрушаю хронологию. То забегаю в восьми-

десятые годы, то возвращаюсь в тридцатые. Вернемся к весне сорок первого. И получим, с подчёркнутой оговоркой «на десять дней, не больше» (срок, на который выдавалась любая книга, и который я всегда опережала; значит, одаряли меня дефицитом) какую-то даже на вид добрую, уютную книжку, с уютным же названием «Комната на чердаке». Вероятно, первую повесть Ванды Василевской, изданную в СССР после присоединения к нему Западных Украины и Белоруссии. А фактически – кусков Польши и Австро-Венгрии.

Этих политических обстоятельств я тогда не знала, не понимала, не интересовалась ими. И вообще. все детали, подоплека происходившего на просторах моей родины оставались для меня скрытыми как минимум пятнадцать лет, как максимум – полвека. (Открылись сегодня-то полностью?) Но вот с Вандой Василевской я успела познакомиться довольно быстро и разносторонне. Сначала с «Комнатой на чердаке». Через два-три года, в разгар войны – с мрачной, страшной в своем натурализме «Радугой». А ещё через пять-семь лет, когда я училась на филфаке, с неукротимой блюстительницей, провозвестницей взглядов партии на художественную литературу. На всех писательских форумах, при всех скандальных разборках она оказывалась роялисткой больше самого короля, во всяком случае, больше своего сверхверноподданного мужа, Корнейчука. Но это всё годы спустя. Сейчас о «Комнате на чердаке». Своего рода

уникальный случай в моей читательской биографии. Не берусь сегодня судить о литературных достоинствах повести Василевской. Но чем-то она меня затронула. Описание этой скромной, но дружной жизни пятерых (или четверых?) сирот, мальчиков и девочек в возрасте от семнадцати до пяти лет (может, с возрастом и количеством детей память меня подводит, но это неважно). Их скудные трапезы, их бедные одёжки, их постоянные бытовые проблемы. И в то же время – их взаимная любовь, доброта, трудолюбие. Я ведь до сих пор в книжках про эту сторону жизни не читала. Любимое «Детство Никиты» наполнено бытовыми подробностями, но абсолютно благополучного существования, сплошные праздники. Тут тебе и Рождество, и Пасха, и приезд гостей. И маятник качается от просто хорошего к очень хорошему. А «Детство» Горького ведь тоже было прочитано? Но если даже «да»... Там – другое. Герой – мальчик Алеша – пленник ситуации, обстоятельств. Как маленький оборвыш Гринвуда. А дети Василевской пытаются – и им удается – преодолеть неблагоприятные социальные условия. И я получала двойной урок. Ведь я не только про тяготы будничной жизни не читала – я их никогда не испытывала, защищённая, оберегаемая моими тремя взрослыми ничуть не хуже, чем Никита – социальным положением своей семьи в царской России.

Конечно, никакого сравнения! Аналогия и не подразумевалась. Наоборот, «Комната на чердаке» была написана для

разоблачения трудности жизни простого народа в капиталистической Польше. Но ведь в чём могучая сила искусства? Литературы в конкретном случае. Пишет Ванда Василевская в меру доставшегося ей таланта (был он, был, иначе не испытывали бы читатели такой ужас над страницами «Радуги») достоверные, подробные сценки из жизни сироток: что ели, как мёрзли, как любовалась старшая сестра витриной с хлопчатобумажными тканями, а у читателя перед глазами возникают своё отключившееся отопление, необходимость занять десятку у соседей. Даже я вспоминаю, как томилась в бакалее, пока бабушка стояла в очереди. Но тут же писательница рассказывает, как отдают старшие дети младшим свои куски, как через силу помогают друг другу. Этот дух человечности пронизывал повесть. Но приводил ли он к хотя бы сносно-му финалу, не помню. Зато помню, что об этой книжке говорили в какой-то взрослой компании – и у нас дома. И в каких-то гостях. Значит «Комната на чердаке» была действительно талантливо написана. И талант превозмог идеологическую зацикленность. Меня, во всяком случае, книга сделала чуточку внимательнее, добрее к людям. Сдала я ее, кстати, тоже досрочно. Не подвела стоявших в очереди за «хорошей книгой».

Впрочем, чаще в библиотеке мне доставались не книги-события (к последним я, безусловно, отношу большой, нарядный сборник «Японских сказок», чуть не треть которого я прочитала по дороге домой, присаживаясь на скамей-

ке Пушкинского бульвара.

С «Маленьким оборвышем», «Детством» Горького, «Республикой ШКИД» – сравниться трудно. Но японцы такие изобретали сюжеты, таких задействовали персонажей, что не оторвёшься!). Так вот перемежались мои эпохальные книжные встречи с короткими касаниями на бегу. То мне предложили рассказы Пантелеева. В сборнике находилось мне знакомое «Честное слово». Но также неизвестные рассказы о Белочке и Тамарочке. Они меня соблазнили, но и разочаровали, когда я прочла их дома – совсем для малышей. Мне даже и в голову не пришло, что их автор один из тех, кто написал «Республику ШКИД». Вот тот неудачный случай, когда знакомишься с писателем от сложного к простому. Зато с Гайдаром всё получилось правильно: сначала я прочитала полученную в библиотеке «Голубую чашку», а уж потом «Военную тайну» и «Школу». А эти повести когда? До войны? Во время? Но не старше, чем в десяти-одиннадцатилетнем возрасте.

Но особенно гармоничные, последовательные отношения сложились у меня с Сетон-Томпсоном. Началось, как я уже рассказывала с «Рваного Ушка» в серии «Книга за книгой». Через год выпала откуда-то (ни источника, ни издания не помню, помню глубокое впечатление) «Королевская Аналостанка», которая обогатила, усложнила моё отношение к животным, в частности – кошкам. Но накрепко вписала в мою память эту сложную фамилию – Сетон-Томп-

сон. Хотя в пять лет я ещё не слишком авторами интересовалась. И вот в библиотеке на Пушкинской мне предлагают громадный том этого писателя. По виду, по размеру, по оформлению напоминает «Героев и мучеников науки». И название какое-то аналогичное. Выглядело так: «Животные-герои. Из жизни гонимых».

«Королевская Аналостанка» справедливо была помещена в раздел героев. Но в компанию к ней Сетон-Томпсон определил таких разнообразных представителей животного мира, что предо мной открылась целая вселенная, не менее сложная и удивительная, чем человеческая и даже сказочная: Лобо, Бинго, Вулли, Мустанг-Иноходец, Виннипегский волк, бультерьер Снап, кролик Джек – Боевой конёк – это были личности, характеры, судьбы, портреты, биографии не менее увлекательные и героические, чем герои Марка Твена, Дефо и Кассиля. А чем-то и более. Потому что, зная сюжет книги, я могла догадаться, как поступит тот или иной мальчик, что скажет даже взрослый герой. Мир животных открывался мне, как чудо. Даже если речь шла всего лишь о голубе или воробье, о которых автор написал в разделе «Из жизни гонимых». С того дня, вернее недели, когда я окончила эту замечательную книжку, то не только определила Сетон-Томпсона в ряд любимейших писателей, не только в течение нескольких лет перечитала все им написанное – и «Маленькие дикари», и «Мальчик и рысь», и «Домино», но утвердилась на всю будущую жизнь в мысли, что у ребен-

ка, не встретившегося в свое время с Лобо, Снапом, Бинго, Виннипегским волком, той же Королевской Аналостанкой, ни душа, ни ум не получают полного гармонического развития. Так же, как не сформируется физически правильно ребенок, которого не обеспечили в детстве витамином «Д». Причем кривые ноги, сколиоз позвоночника, «куриную грудь» можно подправить в пять, десять, двенадцать лет. Душевный и духовный авитаминоз требует предупреждения.

Мне кажется, что мои библиотечные хождения-похождения завершаются. Больше из этого полутора (двухмесячного? с марта?) чтения мне ничего не припоминается. Да, была антифашистская книжка какой-то немецкой писательницы (как и «Карл Бруннер», своевременно не убранная в спецхран; как будто предчувствовали, что скоро потребуются; в действительности небрежно следили за детскими учреждениями – «вредителей» хватало во взрослом мире). Что-то про голодных детей, запертых в доме. И мать, побродив безрезультатно по городу, бросается в реку вместе с ключами. Не совсем уверена, но похоже, что так.

Ещё до войны остается полтора кабардинских месяца, с санаторной библиотекой. Но, честно говоря, конкретных книг я не помню. Сезоны сорокового и сорок первого года у меня смешались. Может какие-то свои впечатления-достижения я уже описала досрочно. И быстро всё произошло в сорок первом году: только мы приехали, обжились, только я возобновила дружбу с Литой и Генрихом, только

посмотрели несколько фильмов, только запаслись парой каких-то книг... И вот, как гром среди ясного неба – прибежала с работы бледная бабушка, какие-то ежедневные совещания, на детей никто не обращает внимание, суета, сборы, даже слёзы – непонятно по какому поводу. Война – это так интересно по стихам Благиной... И возвращение в Ростов.

Дальше начнётся совсем другая, особая жизнь. И начнётся формирование совершенно особого этноса, существование которого я открыла, ковыряясь в своих воспоминаниях. К которому я и себя причисляю. Но это особая тема. И ей особое место.

А сейчас о двух-трех замечательных книгах моего дошкольного детства, которые куда-то ускользнули от меня. А между тем без них портрет будущего «ребёнка войны» получится неполным. Не все мои симпатии, вкусы и предпочтения будут объяснены. Поэтому – ещё полстраницы вашего внимания. Начнем с объяснения – почему я об этих книгах забыла. Потому что они не появлялись. Их никто не покупал, не приносил. Они в нашем доме всегда были. Именно начиная с «Нового Быта». Даже не как книжный шкаф и марлевые занавески, которые сшили, купили, повесили в определенный день, а всегда. Как главный стояк «центрального отопления» протыкал нашу столовую, снабжая теплом весь дом, заставляя моих женщин до войны задыхаться, а переживших холода сороковых – его благословлять. А он, как стоял розовой колонной в апреле тридцать шестого – тёп-

лым, в феврале сорокового – горячим, в январе сорок седьмого – холодным, а начиная с пятидесятого – по сезону, так и эти три книги всегда лежали, то здесь, то там, на столе, на диване, закрытые, раскрытые. То читаемые вслух, то «про себя», то рассматриваемые.

А в «Гулливере» было что рассматривать. Книжка была громадная, подарочная. Адаптированная для детей первая часть – «Путешествие в Лилипутию». Зато с глянцевыми иллюстрациями Доре, размером 84 x 108. И я могла насладиться всеми деталями, всеми подробностями приключений героя, не утруждая себя текстом. Впрочем, почему «не утруждая»? Текст мне очень нравился! Причём он был к семи годам столько читан мне, я знала его почти наизусть и помнила безошибочно: какого цвета нитки за какие успехи в акробатике вручались придворным; какого размера были лилипутские ведра, с помощью которых Гулливер пытался потушить пожар в императорском дворце. В смысле выразительности удачного способа тушения рисунок Доре выигрывал по сравнению с текстом. Зато абсолютно неосведомлённая о том, какие истинные политические события Англии скрываются за приключениями Гулливера, не знавшая о существовании Болингброка, а тем более – о противостоянии протестантов и католиков, я впервые в жизни осмыслила, восприняла, использовала сложный книжный образ, метафору, когда по поводу дурацкого спора между мамой и бабушкой – какую кофточку мне надеть, заявила: «Что вы, как остроконечни-

ки и тупоконечники, ругаетесь по пустякам?» Чем всех развеселила. Ведь из книг приходит всё: и знания, и мудрость, и шутка.

Вторая постоянная спутница моей новобытовской жизни – «Ребята и зверята» Ольги Перовской. О ней естественно было бы поговорить рядом с Сетон-Томпсоном. Но, как я уже выше объясняла, слишком она была вездесуща в моем детстве, чтоб её замечать. И в то же время слишком ее рассказы о животных отличались от сетон-томпсонских. У того удивительно сочетались серьёзные естествоиспытательские научные знания о животных с писательской манерой их очеловечивать, за них думать, чувствовать, чуть ли не говорить. Не зря же я определила – «животные-личности».

У Ольги Перовской – задача другая. Кстати, кем она была? Профессиональным писателем? Или практикующим зоологом, призванным в детскую литературу Маршаком? И достаточно ли овладела новой профессией? Надо бы заполнить в руки сборник «Ребята и зверята». Перечитать. Проверить литературные способности автора. Тем более сделать это нетрудно. Книга переиздается у нас каждые пять-десять лет большим тиражом и прекрасно расходуется. Что уже свидетельствует в пользу автора. Да и сомнения мои – дурацкие. Ведь я до сих пор вижу тот сборник во всех внешних деталях: нарядный, белоснежный вначале и потемневший на долгой службе через несколько лет. Помню все вагагинские иллюстрации: Дианка и Томчик на поводке, тиг-

рёнок (нет, уже тигр!) Васька с ощеренной пастью, марал Мишка, выбивающий барабанную дробь на спине отшельника, подросток лисенок Франтик с курицей в зубах, ласковые мордочки осликов Ишки и Милки, Чубарый, вытянувшийся в скачке. А главное – могу сию секунду пересказать во всех подробностях историю появления, приручения, проживания, дружбы каждого животного с детьми лесничего. Всё это свидетельствует о незаурядном таланте Перовской. Но главное – об огромном заряде чувств к братьям нашим меньшим (это тигр-то меньшей? марал? жеребец?), который она накопила в своем удивительном детстве, сохранила и сумела передать читателю.

*Просыпалось солнце рано,
Умывалось в речке.
Шли на водопой бараны,
А за ними овечки.
Вместе с солнцем бойцы подымались,
Подымались, в поход собирались!
Ой, вы кони удалые, домчитесь до речки,
А там и переправимся, не дадим осечки.
Слышен топот конский
По степи каленой...
Ты прощай, боец-товарищ,
В бою закалённый!*

Глава IV. Три месяца и три года. Что читали «дети войны»

Итак, об этом особом, военном чтении детей восьми-двенадцати лет. На собственном примере. Полностью я в него погрузилась с октября сорок первого года.

Когда война грянула нам с бабушкой на голову 22 июня в Кабардинке, стало не до книг. Жизнь превратилась в стремительное действие. Санаторий, вероятно, был расформирован. Во всяком случае, сотрудники с детьми разъехались в несколько дней. Мы в том числе. Потом несколько суматошных месяцев в Ростове, во время которых я подговорила своих дворовых подруг бежать на фронт. План был таков: дойти пешком до Рабочего городка – там проходила какая-то железнодорожная ветка, я её видела, когда мы в 37—38 гг. навещали Бирулей. По моей фантазии, она предназначалась для военных эшелонов. Упросить военных, чтобы нас взяли в поезд, и попасть на фронт сестрами милосердия, в лучшем духе стихов Благиной (и ещё кого?), напечатанных во время финской войны в «Мурзилке» и в той же серии «Книга за книгой».

Готовясь к побегу, мы (во всяком случае я) копили продукты: яблоки, печенье. В назначенный день получили разрешение наряжаться в зимние пальто, якобы для репетиции какого-то спектакля. Как же были перепуганы, озабочены

наши взрослые, что готовы были выполнить любые дурацкие просьбы, лишь бы отвязаться. По-дурацки одетые, вернее, по-дурацки нагруженные (пальто мы тащили в руках, собираясь облечься в них уже на фронте, в разгар боёв), мы прошли четыре-пять кварталов в предполагаемую сторону, присели на поребрик, умяли все припасы, облегчив хоть частично свою ношу, и бесславно вернулись домой.

Тут подоспело первое сентября. Было несколько посещений школы. А потом мама была мобилизована как врач, и начались наши сборы в эвакуацию. У меня они как раз были полностью связаны с книгами. Поскольку с собой разрешалось взять только самое необходимое, то книги исключались категорически. Мои взрослые все «излишки» оставляли в запертой квартире, собираясь скоро (или не скоро?) туда вернуться. Я же почему-то решила свои книги, уезжая, раздарить. Откуда эта мысль? Я считала, что мы уезжаем «навсегда»?! Или появился повод для красивого, как раз книжного жеста: раздаривание главных своих ценностей наиболее достойным... моя грусть... моя щедрость... их счастье... Две самых любимых книжки – «Золотой ключик» и «Доктор Айболит» по Гю Лофтингу – я подарила четырнадцатилетней Вальке Дудченко, младшей дочери той самой Марии Ивановны. Валька была писаной красавицей и признанной командиршей всей девчачьей мелюзги дома №17 от шести до десяти лет...

...Как весь этот романтический сценарий оказался разру-

шен, когда по нашем возвращении через полгода я если где и встречала остатки моих прекрасных книг, то в совершенно чужих руках и в совершенно непотребном виде. Но все-таки свою долю возвышенного общения с книжными сокровищами я получила, когда их раздаривала.

А теперь, пропустив в рассказе баржу, которая везла наш госпиталь из Ростова до Калача, посетив в Калаче книжный магазин и купив там две книжки: «Маугли» Киплинга и «Егорка» Петра Гаврилова (про медвежонка на военном корабле), я оказываюсь в товарном составе, вернее, в одной из теплушек, в которой персонал эвакогоспиталя следовал из Калача в Ташкент через немереные версты советской страны.

Про этот теплушечный быт написано много. Я тоже писала. Про нары, прибитые друг против друга в два этажа, на которых что? – спят?.. едут?.. живут?.. – по семь-восемь человек. На «нашей», верхней полке – мама, бабушка, я, врач Елена Яковлевна Воронина с дочкой Галей лет двенадцати, врач Лебензон с дочкой Аней семнадцати лет, врач Виккер с молодой, красивой женой, артисткой оперетты Варенькой. А Виккер спал на нашей полке? Или уходил на нижнюю, где ютились преимущественно мужчины? Но внизу жила ведь и какая-то женщина-врач с четырнадцатилетней дочкой Леной (фамилии их не помню, а может, вообще не знала). Полной ясности в системе заселения нар у меня нет. Помню, что верхнюю полку напротив занимали два семейства: эко-

номист Сладков с женой, сыном Мишей и тещёй и политрук Плахотнюк с женой и сыном Витей. Оба мальчика – мои ровесники. А кто спал на второй нижней наре? Наверное, какие-то холостые мужики, раз я их совершенно не помню. Меня интересовали только дети, да и то не слишком. С Галочкой Ворониной мы быстро подружились, этого общения нам хватало.

Между нижних нар стояла чугунная буржуйка, которой теплушка обогревалась, на которой кипятили воду, чай, варили или грели еду (если её готовили на весь эшелон). И эту печку топили, выгребали, обслуживали как раз обитатели нижних нар, вот именно мужчины. Что ещё помню? Подушки, примёрзшие к стене вагона. Единственный за три месяца случай посещения бани. В Сызрани или Рязани? Вероятнее первое. А Рязань вскочила в память вопреки географии из-за буквы «З». Ещё вечные проблемы с естественными отправлениями. Один мерзкий антиэстетический случай до сих пор никому не смею рассказать. Зато живо помню ужас, когда на стоянках мы проползали под составами, чтобы посетить уборную. Ведь любой эшелон мог двинуться в любую минуту. И ещё была у меня заветная мечта в этом трехмесячном пути: чудом оказаться в «Новом Быте», в нашей квартире. Причем не в большой пятнадцатиметровой столовой с оранжевым абажуром, не в пятиугольной уютной спальне, где у меня свой собственный угол с книгами и игрушками. Нет! Я мечтаю поселиться в нашей уборной. Именно поселить-

ся. Унитаз, если его накрыть дощечкой (пластмассовых крышек ещё не придумали), будет служить стулом. Перед ним вместо стола поставить табуретку. А спать можно прекрасно на полу... Ведь «Новый Быт» был спроектирован в 26-м или 27-м году зигзагами, которые служили максимальному использованию жилой площади. В результате в нашем туалете (и вероятно, во всех остальных), кроме полутора квадратных метров, на которых расположились унитаз и сливной бак, оставался дополнительный пустой метр пола, когдаходишь – налево. Может, архитектор предполагал, что туда хозяйка поставит какой-нибудь шкафчик. Или корзину с грязным бельём. У нас иногда ставили ведро для мытья полов, веник. А как бы я там удобно разместились головой и боком, подстелив какую-нибудь ветошь, а ноги обернув вокруг унитаза. Который в таком случае всегда был готов к моим услугам. Какое фантастическое удобство! Какой совершенный комфорт! Для чтения, еды, сна, гигиены!.. Хочу на всю жизнь поселиться в нашем туалете!..

Интересно, а как представляли себе счастливую жизнь остальные обитатели теплушки? Что-то я таких разговоров на нарах не слышала. Зато помню азартные реплики наших женщин, когда, занавесив полку от остальных жителей парой простыней, они устраивали тотальную вошебойку. Елена Яковлевна Воронина, снимая лифчик приговаривала: «Вот волшебный он у меня. За все два месяца ни одной штуки в нем не оказалось. Вот взгляните», – и она раздвигает

глубокий шов, а там сидят сразу три – серенькие, жирненькие, довольные жизнью... Все хохочут...

Всё бывало. Жизнь в теплушке складывается из множества забот. У врачей, у того же экономиста Сладкова, у политрука – какие-то служебные обязанности. Выполнять их они убегают на стоянках в штабной вагон, где застревают иногда на час, а то – на целый день. Ведь состав движется вне расписания и останавливается по воле случая. А вот случаи бывают чрезвычайные. Плахотнюку поручили на какой-то станции забрать недоданные в Сызрани и наконец-то догнавшие госпиталь продукты. В помощь себе он взял двенадцатилетнего сына какой-то врачихи из штабного вагона, Продукты Плахотнюк получил. Но пока они с мальчишкой пихали брикеты концентратов и пакеты сухарей в рюкзаки, наш состав тронулся, без гудка, без свистка, полным ходом. И политрук с мальчиком догоняли его десять дней всеми способами военного времени. Мать же пацана чуть не хватил за эти дни инфаркт.

А откуда бралось топливо для вагонных буржеек? А как поддерживался боевой дух сотрудников госпиталя? Вот это, наверное, была прямая обязанность Плахотнюка. Но мне почему-то видится, как моя мать читает лекцию (в смысле – рассказывает) о фашизме – варварстве XX века.

Это все про взрослых, про служащих. В смысле – про сотрудников госпиталя. Но ведь ехало несколько ещё так называемых «иждивенцев». Например, моя бабушка. Бабушка

Мишки Сладкова. У них тоже забот хватало. Минимум комфорта и гигиены своим близким обеспечивали именно они. Без конца что-то штопали, зашивали. Пытались подтереть, застирать, простирнуть. О выстирать не могло быть и речи. О! Следить за детьми! Нужно было этим заниматься? Или мы уже были обузданы необычной обстановкой, необычным временем? Самим словом «война»? Скорее всего, так и обстояло дело. Потому что я не помню за все три месяца никаких конфликтных ситуаций в теплушке, связанных с детьми. Никуда мы не прыгали, никуда не лазали. Ничего не ломали, не ссорились, не дрались. И вообще почти не общались. Вернее, общались автономно, парами. Мы с Галей Ворониной на правой верхней наре, на которой спали. Мишка Сладков и Витька Плахотнюк – на левой. Четырнадцатилетняя Лена, которая спала с мамой внизу, каким-то образом участвовала в жизни взрослых. Перекрестный контакт за всё время случился один раз – на Новый год. Когда нам поставили маленькую елочку, Мы уже ехали на Север, через хвойные леса. Для ёлки мы сами изготовили жалкие украшения. Каждый прочитал какой-то стишок, а я даже пересказала из приложений «Мурзилки» новогоднюю историю. И подарки нам принесли из штабного вагона.

В обычные же дни не знаю, чем занимались Мишка и Витька, а на наших нарах было принято что-нибудь рассказывать друг другу. Главным зачинщиком оказалась Варя Виккер (или у нее была девичья фамилия, сохранённая для

сцены?). Варя изложила сюжет не менее пяти оперетт, в которых пела в мирное время. Попутно напевая арии, разыгрывавая сценки. Стыдно признаться – ничего не помню. Только песенку из «Принцессы долларов» – так тогда произносили.

Безусловно, кто-то в кого-то влюблен! Вроде – разница в имущественном и социальном положении... нет... Дырка в голове.

Зато запомнилось, как бабушка моя рассказывает о лекциях, которые читал в 1913 году на «Курсах повивальных бабок» в Петербурге профессор Отт, лейб-медик Ея Императорского Величества. У него была теория, что пол будущего ребенка зависит от питания беременной женщины (вот откуда возник разговор – после очередного супа из концентрата). Он рассказывал, что знатные, богатые люди десятками лет не могут дождаться наследника. Ухоженные, перекормленные жены рожают только девочек. У нищих же крестьян и вечно голодающих китайцев – сплошные мальчишки...

По-моему, я и Галя на эти воспоминания не приглашались – не по возрасту, дескать. Считалось – мы во что-то играем. Однако, не знаю, как у Гали, но мои ушки стояли на макушке. И я вспомнила этот рассказ в восьмидесятые годы, когда не только лейб-медика Александры Федоровны, не только самой императрицы не было в живых, не только моей бабушки, но и моей мамы. Я прочитала, что в Японии проходят удачные опыты по формированию пола у рыб путем подбора кормов. А французские ученые замахнулись

на самого «царя природы». Они советовали мужьям, жаждущим сыновей, кормить жен белковой пищей, а мечтающим о девочках – фруктами, кондитерскими изделиями и ещё не помню чем. Но по их (ученых) диете. И начинать это всё до зачатия. Вот когда я оценила прозорливость старинного профессора. И заодно вспомнила, что мои дети вскормлены в материнской утробе именно по французской схеме: дочь – апельсинами, яблоками, деликатесами и сладостями, сын – пирожками с ливером, дешевой колбасой (так сложились семейные обстоятельства).

Но не будем уклоняться от нашей теплушки. Поговорим о том, что был у нас с Галей Ворониной действительно повод забираться вдвоём в укромный угол... Нет, я путаюсь в последовательности событий, забегаю вперед. Ведь я уже в Калаче держала в руках две новенькие книжки. С ними сядила в вагон и сразу в них влипла. Что называется, «одна другой лучше». «Егорка» – про медвежонка у краснофлотцев, очень мне понравилась. Как раз по возрасту, занимательная, жизнеутверждающая. Я её проглотила залпом. «Маугли» я тоже прочла быстро. Но совсем по-другому. Это был не только новый мир, необычный сюжет, удивительная информация. И что? Сочла ли я «Маугли» реалистической повестью? Я ведь уже где-то читала (или мне мама рассказывала? Нет, читала – вижу картинку) об индийских девочках, обнаруженных в волчьих логовах. И Сетон-Томпсон, явный реалист, позволял себе очеловечивать животных, приписы-

вать им взамен инстинктов, интуиции, генетических навыков (а если не взамен, то плюс к) нравственные и психологически побуждения...

Так вот представьте себе – нет! Я не детским умишком – кожей почувствовала, что книга эта написана, чтоб чему-то меня научить. Сегодня я скажу, что «Маугли» – учебник философии. Тогда я и слова такого не знала. Да что там! Я и про учебник не думала, наслаждалась сюжетом, образами (ведь действительно – образы) И Багира, и Балу, и Каа, и Аке-ла. Типажи, личности. Оторваться невозможно. И всё-таки. И всё-таки. Какое-то впитывание происходило. Какое-то нравственное воспитание, обогащение. Я приобретала знания... Но не как орехи собирать, не как от жары укрываться, не как остерегаться кобр и тигров... А выбирать друзей, хранить верность, помогать в беде...

Кстати, насколько серьёзно повлиял «Маугли» на мою личность я поняла, может быть, лет через двадцать, когда прочитала Киплинга почти полностью. И почувствовала, что он не только неутомимый создатель философских теорий, но и настойчивый их проводник. И в романах, и в рассказах, в «Книге Джунглей», и в стихах. В стихах – особенно. А я – его верный адепт. Во всяком случае, «Заповедь» с 1951 года хранится в моей главной записной книжке. Собственно, там перечислены все те же заветы, которым обучал человеческого детеныша Балу.

Но это всё – годы спустя. Тогда же осенью сорок перво-

го в сумрачной, зябкой теплушке, среди шума и толкотни тридцати людей, стеснённая ими, задеваемая, отвлекаемая, я опять и опять погружалась в историю «Маугли». Влюблялась в Багиру. Ненавидела Шерхана и Табаки (по-разному, Табаки даже больше, потому что ещё и презирала). Повторяла, примеряя к своим жизненным ситуациям. «Мы – одной крови, ты и я!». Обдумывала – могла бы я полюбить гладкого, холодного, скользкого питона? (В мои понятия о любви все же входили ласка, соприкосновения, объятия.)

На несколько дней отдавала книгу кому-нибудь на прочтение: той же Гале Ворониной, Вареньке. Ане Лебензон. И снова втыкалась в неё по возвращении. Перечитала раза три. Подряд – от начала до конца. Выборочно: историю с промахнувшимся Акелой. Афоризм «Акела промахнулся» я беззастенчиво приватизировала и несколько раз попыталась поразить общество или собеседника (не знаю, насколько впадал) своей эрудицией. Но оказалось (правда, немного позже, при выходе моём в более начитанную аудиторию), что эта реплика давно взята любителями чтения на вооружение. Ещё нравились мне история с бандерлогами, сражение с рыжими собаками, жизнь в деревне, уроки Балу, водное перемирие. Эта книга была неисчерпаема. Я постоянно о ней заговаривала. И с Галей Ворониной. И с бабушкой. И с мамой.

Галя, с удовольствием прочитав «Маугли», сказала: «А вот я какую книжку этим летом читала!» – и дня два или три пересказывала мне «Тилия Уленшпигеля». Боюсь, что по-

лучалось у неё не очень хорошо. Плавного, последовательного движения событий не выходило. Оптимистического финала я вообще из её рассказа не помню (может, ей досталась какая-нибудь первая часть), но вот отдельные эпизоды: дьявол, являющийся Каталине, сожжение Клааса (значит, и «Пепел Клааса стучит в мое сердце»), рыбник, его вафельница с зубчиками – эти эпизоды, видимо, произвели на неё большое впечатление – и соответственно – на меня. Вытянув из Гали всё, что она знала об Уленшпигеле, и твёрдо решив добраться до этой книги при первой возможности, я опять взялась перечитывать то ли «Маугли», то ли хотя бы «Егорку». Но тут надо мной сжалилась мама: «Попробую тебе что-нибудь в штабном вагоне раздобыть». И принесла «Трёх мушкетеров». Это, конечно, было длиновато для восьмилетней девочки, несколько перегружено подробностями, деталями историческими и бытовыми, не всегда понятными. Но всё равно – интересно. И мне кажется, что непонятность этот интерес даже усиливала, интриговала что ли? Но, конечно, читались «Мушкетёры» куда медленнее «Маугли». А если напомнить, что свет плохой, вагон трясётся, тебя отвлекают, то уж никак не меньше недели.

И вот началось самое важное, переломное время в моей читательской биографии. Я раз и навсегда окончательно вошла в мир взрослых книг. Как и большинство моих сверстников в эти дни. Выбитые из нормальной жизни, оторванные от школы, детских библиотек, радио, кино, дворовых игр,

короче – обычных времяпрепровождений, мы жадно нажились на книги. Они заменили нам всё вышперечисленное. Добывали их любым способом. Соглашались на любых авторов. На шедевры и на макулатуру. На тысячестраничные эпопеи и на брошюрки газетных фельетонов. Лишь бы занять свои мозги и подкормить своё воображение. Книга стала для нас такой же насущной потребностью, как еда. И поглощалась даже с большей жадностью.

В доказательство привожу список книг, прочитанных мной в теплушке. Ну, предположим, на первый месяц, когда мы устраивались, обживали теплушку, мне хватило «Егорки» и «Маугли». Да ещё Галиных рассказов об Уленшпигеле и Варенькиных либретто. А вот что попало мне в руки, а главное – в голову в короткие дни долгих двух зимних, холодных месяцев. Особенно холодных ещё и потому, что, доехав до Кызыл-Орды, мы, вместо Ташкента, повернули на Север (столица Узбекистана трещала от наплыва эвакуированных) и только в середине января ступили на твёрдую почву – в Вологде! Так вот, эти два месяца я, вместо того чтобы на непредсказуемых остановках изучать через быстро отдвигаемые и задвигаемые двери картинки нашей необъятной родины (нет, было-было: где-то в Средней Азии я увидела на какой-то станции навьюченного верблюда; а уже в северной стороне, когда кому-то что-то понадобилось выбросить из вагона, мимо меня впервые в жизни промелькнул заснеженный еловый пейзаж), – я, сидевшая напротив двери,

уткнувшись в книгу, отводила взгляд с раздражением..

Это были (даже последовательность помню) «Три мушкетера», «Пётр Первый» Алексея Толстого, «Великий Моурави» Антоновской (два или три тома?), «Далёкие огни» Шолохова-Синявского, «Детство Пануки» Кофанова, «Принц и нищий» Марка Твена. И какой-то номер альманаха «Воронеж» – ни до, ни после невиданного и неслыханного мной издания. Так как это книги всем известные – и их содержание, и их объём, то вы догадываетесь, что скучать мне уже было некогда. Короткие перерывы между удачными мамиными экспедициями заполнялись тем, что я пересказывала Гале прочитанное. Задержать книгу, чтоб кто-то ещё в нашей теплушке её прочел, не получалось. На книги стояла очередь (в штабном вагоне? или среди маминых знакомых?). Значит, ещё оставались в это трагическое время, в этом вывернутом наизнанку месте люди с хронической болезнью – любовью к чтению. Это они, невзирая на приказ «ничего лишнего», взяли из дома книги, полагая их насущным. Это они ссужали их маме для её восьмилетней дочки. Давая при этом советы. Например, некий доктор Червинский, вручая «Принца и нищего», сказал: «А ты не боишься, что девочка, прочитав о жизни принцев, разочаруется в пролетарском существовании?» Интересно, это была шутка? Или серьёзная мысль? Высказанная сторонником Надежды Константиновны или её непримиримым противником?

Но, как бы там ни было, «Принц и нищий» была един-

ственной книгой, подходящей мне по возрасту. Читалась удивительно легко и быстро. И кажется, благодаря этому, её успела прочитать и Галя Воронина, подстерегая каждую минутку, когда я была занята бытовыми обязанностями. Я, между прочим, тоже умудрялась отдельные эпизоды повторно просмотреть про себя и даже озвучить для бабушки. И кстати, впивалась в неё, каждый раз всю жизнь, если оказывалась под рукой. Детям и внукам покупала неоднократно, в каждую отпочковавшуюся библиотеку внедрила, каждому, едва осмыслившему, прочитала – то ли за обедом, то ли перед сном. При этом каждый раз испытывала то же удовольствие. А может быть, и большее. Я заметила, что детские книги, когда их читаешь во взрослом состоянии, производят особое впечатление. Особенно пропущенные. Ранее не встреченные. Так, я читала детям вслух в шестидесятые годы сказки Каверина, «Винни-Пуха», «Орден Желтого Дятла», «Питера Пэна», «Приключения Карлсона». Вдруг неизвестно откуда вывалившуюся повесть «О девочке Маше, о собаке Петушке, о кошке Ниточке» Введенского. Во мне как бы перезагружался некий вакуум, предназначенный для детского чтения, заполненный во время войны не только хорошими взрослыми книгами, но и всякой случайной посредственностью.

Однако именно с теплушечного времени я твёрдо знала: мне интересны все книги. В разной степени, с разных сторон, для разных целей. Но абсолютно все.

Хотя кто знает? Может эта всеядность торжествовала в военные годы по объективным причинам? Во-первых, вкус ещё не сформировался, во-вторых, возможности выбора не существовало. Ведь появились же со временем книги, которые я прочитывала со скукой, брезгливостью, и не то что не перечитывала, даже новые «шедевры» авторов отказывалась в руки брать. Но вот уж если взяла, то считала долгом одолеть. Образовалось такое внутреннее правило – из уважения к любому писательскому труду. Даже неудачному. В теплушке благодаря этой всеядности я «переварила» «Далёкие огни» Шолохова-Синявского. А, может как раз таки «переварить» не удалось. Потому что не помню абсолютно ничего – ни сюжета, ни одного действующего лица. Только зелёный цвет картонного переплета. Однако и она как-то встроилась в мою информационную копилку. Что-то я узнала о жизни людей, их отношениях. В частности, о том, что евреи между собой называют русских «гоями». А может, всех неиудеев? Значит, что-то там было о национальном конфликте? Или семейном, на почве национальности? И я эту деталь запомнила. А почему ничего более? Скучна была книга? Элементарно плоха? Значит, какой-то вкус у меня уже сформировался?

А вот кофановское «Детство Пануки» понравилось. Потому что про ребёнка? Или это действительно талантливый писатель? И кривая его судьбы поставила точку на его возможностях? Удивительно, что не показались мне скучными

такие разные книга, как «Пётр Первый» и «Великий Моурави», несмотря на их пугающие размеры, ошеломляющую насыщенность историческими и бытовыми деталями. Наоборот... Эти подробности поражали, увлекали, сразу превращались в картинки, сценки, запоминались на всю жизнь. Ведь именно с восьми лет я представляю эту обстановку крестьянского быта петровских времён: детей, спящих покатом на печке, Саньку, выскакивающую во двор по нужде (как я ей позавидовала) в единственных на всех четверых ребятишек валенках. И благодаря роману Толстого я узнала о существовании царевны Софьи и Василия Голицына (эта личность мне почему-то запомнилась особо). И как-то встроилась в меня, выстроилась в правильной последовательности родословная Романовых после Алексея Михайловича. И ранняя смерть Федора Алексеевича, и тут же вспыхнувший стрельцкий бунт, и провозглашение двоецарствия, и два малолетних несмышлёныша-царька, чужими интригами воздвигнутые. И далее – их разная жизнь. Царь Иван, бледной тенью маячивший десятки лет на фоне Петра, но все-таки умерший своей смертью, успев породить будущую Анну Иоанновну, с ее Минихом и бироновщиной, о которой мне ещё предстоит прочитать «Ледяной дом» Лажечникова и «Слово и дело» Пикуля.

А из свадьбы юного Петра с Евдокией Лопухиной, из той курицы, которую жених рвет на части и вручает невесте, когда их оставляют наедине, народится царевич Алексей.

И не только толстовский, описанный довольно бледно... да что это я?.. скорее всего, в сорок первом году Алексей Николаевич издал только первую часть романа, ещё не дошел до трагедии отца и сына. И я о ней узнала сначала, увидев в Третьяковке в сорок пятом картину Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». А потом из трилогии Мережковского, которую я буду читать уже в старших классах. По частям... По томам... Добывая, разыскивая... Не всегда в правильной последовательности. Кажется, сначала «Леонардо да Винчи», потом «Юлиан Отступник». И только чуть ли не в пятидесятые годы «Христос и Антихрист». Но началось это особое погружение в русскую историю именно в теплушке.

А как упивалась я сплетениями взаимоотношений при царском дворе в книге Антоновской. Казалось, после насквозь авантюрного построения «Трёх мушкетёров», где политические, экономические, военные конструкции, выстраиваемые Ришелье, – только фон для стремительных, ярких приключений мушкетёров, медленная и дотошная история превращения крестьянского юноши в Великого Моурави должна утомлять. Ничего подобного! Как раз, вспоминая эту книгу сегодня, я с трудом восстанавливаю цепочку биографии главного героя: что-то про первую юношескую любовь к односельчанке, превратившейся позже в святую Нину. Образ Русудан – скорей мужественной, чем женственной, как и подобает супруге Великого Моурави... Сын, от-

правленный в заложники ко дворцу султана... Какие-то битвы... Пожалуй, всё. А главное впечатление – нескончаемые сети плетущихся при царском дворе интриг. Все эти оттенки взаимоотношений эристави и каталикоса. Эти тайные встречи. Эти публичные намёки и взгляды. Эти торжественные и тут же нарушаемые клятвы. Эти молчаливые, но неуклонно выполняемые договоры. Может быть, мой интерес к подробностям грузинской истории подогревался тем, что, побывав летом тридцать девятого года с бабушкой три недели в Батуми (плюс её рассказы о двадцати пяти годах, прожитых в Грузии), я считала, что хорошо знаю грузин во всём их блеске, красоте, гордости и мужестве. И вот сегодня узнаю – из каких корней такие характеры вырастают.

А что вычитала я в остальных книгах? Про занимательность «Принца и нищего» и про восхитительный юмор этого автора я уже писала... Но эта книга, а также «Детство Пануки» и альманах «Воронеж» подтолкнули меня к другому. Все три, хотя совершенно по-разному. Они обратили меня к ранее прочитанному. Заставили задуматься об авторах, их личностях, их творческих приемах, уровне их таланта. Конечно, не в такой терминологии, абсолютно неосознанно, импульсивно, по-детски. Но думать... Объясню через подробности.

Например, взяв в руки «Принца и нищего» я сразу вспомнила читанных «Тома Сойера», «Гекльберри Финна», «Тома Сойера – сыщика». Надеюсь, что заметила, поняла многие остроты, шутки великого американца. В общем, наслажда-

лась вовсю.

Читая «Детство Пануки», я немедленно вспомнила «Ковёр-самолёт». Выходит, знание автора уже входило в обязательный набор моих сведений о книге. Да, я ещё до войны знала не только имена Жюль Верна, Кассиля, Марка Твена, что «Муху-цокотуху», «Телефон» и «Путаницу» написал Чуковский, а «Человека рассеянного» Маршак, но даже что автор «Ясочкиной книжки» – украинская поэтесса Наталья Забило.

Однако в случае Кофанова мое обращение к прочитанному в Ростове «Ковру-самолёту» носило совсем другой характер, чем с Марком Твеном. Читать «Детство Пануки» было интересно, но я сразу оценила её скромнее «Ковра-самолёта». Хотя Панука был почти мой ровесник, а героёй «Ковра-самолёта» – подросток. Хотя содержанием «Детства Пануки»... были как раз впечатления моего сверстника, его доступные чувства, мысли, порой почти параллельные. А в «Ковре-самолёте» разбирались тонкости психологических отношений подростка и его мачехи. Тема совершенно от меня далёкая. Но мне та книжка понравилась больше. Было ли дело в том, что герои «Ковра-самолёта» жили в наши дни, со всеми сегодняшними реалиями и конфликтами? А Панука – до революции, причем в северо-кавказской среде, с экзотическими особенностями, типа проезда эмира Бухарского. Как-то меня эта ориенталистика не воодушевила. А скорее всего, разгадка была в том, что свое детство Кофа-

нов описал лет пятнадцать-десять назад (книжка была издана в тридцатые годы), а «Ковер-самолет» был куплен Юрием с пылу, с жару только в сороковом году. Выходит, я уже могла оценить рост писательского мастерства? Жаль, что не могу я заполнить сейчас эти книги и проверить свои предположения.

И, наконец, несколько слов об альманахе «Воронеж». Не помню, чем был заполнен стопятидесяти-стосемидесяти-страничный журнал. И весь ли я стала читать? А вот два рассказа Полиена Яковлева сразу привлекли мое внимание. Ещё бы! Любимый писатель ростовчан! Автор читаного-перечитаного «Первого ученика»! А тут, в альманахе – два рассказа о Швабрине, главном антигерое повести. В «Первом ученике» учитель гимназии Швабрин носил прозвище Швабра и был совершенно однозначен. Являлся воплощением всех худших человеческих и профессиональных качеств. Со всеми положенными советской литературе преувеличениями и безапелляционностью. По сравнению с гимназическими учителями «Кондуита и Швамбрании» был совершенным монстром. Впрочем, в повести Полиена Яковлева были показаны и швабринские антиподы. Но всё равно, прежде всего он должен был олицетворять казённое бессмысленное дореволюционное образование. И с этой ролью справлялся. А поскольку книга была переполнена яркими сценками гимназического быта, выразительными характерами детей, то Швабрин, как глушитель мальчишеской жизни, успешно

выполнял свою церберскую роль в несколько окарикатуренном виде.

В альманахе Швабрин вдруг оказывался вне сюжета повести, вне гимназической среды, в частной жизни одинокого, не слишком устроенного, малообеспеченного человека. Преодолевать сложности холостяцкого быта ему помогает приходящая прислуга. Она и обнаруживает, придя на работу, подброшенного на ступеньки младенца. Тут же успокаивает хозяина, что сейчас выполнит кое-какие срочные дела и отнесёт ребёнка в воспитательный дом. И вот пока она, всё-таки напоив, а может, и покормив чем-то ребёнка (подробности улетучились) занимается неотложными делами, Швабрин разглядывает крошечного мальчика (в гимназию ему не надо, день воскресный), и последовательно думает то о безнравственности тёмного народа, то о печальной (к сожалению) судьбе младенчика. То о каких-то своих житейских обстоятельствах, о планах молодости. О постигавших неудачах. Об их преодолении. О достигнутом если не благополучии, то равновесии, хотя бы душевном. То есть оказывается перед нами не схемой, не карикатурой, а вполне среднеарифметическим человеком, вызывающим как минимум сочувствие. И в этих блужданиях мысли Швабрин доходит до решения усыновить подброшенного младенца. И уже с умилением наблюдает, как прислуга перепелёнывает намочшего ребёнка в его старую простыню, кормит с ложечки теплым молоком. И представляет, как будет воспитывать

из него честного, порядочного человека, может быть, как раз первого ученика, но уж во всяком случае верного сына царя и отечества.

Он сообщает о своем решении прислуге. Та удивляется и пытается Швабрина отговорить. Пугает сложными ситуациями. Он непреклонен. Но одна неприятность тут же случается. От молока или от чего другого у ребенка схватывает живот. И он кричит, как резаный. Женщина быстро одевается. Но Швабрин её останавливает. Однако кроме крика на него угнетающе действуют собственные мысли. Но ведь так может быть ежедневно. А как же вечерняя подготовка к занятиям? Проверка работ гимназистов? Отдых, наконец? А сколько понадобится расходов! Об этом ему рассказала прислуга. Кроватка, одежда, няня. А может, и кормилица? Рассказ заканчивается тем, что Швабрин в окно смотрит на удаляющуюся женщину с ребенком. И старательно придумывает оправдания для своего решения, которое, конечно, прежде всего продиктовано заботой о ребёнке.

Я, прочитав эти рассказы (второй тоже был посвящен частной жизни Швабры? или насчет двух – та самая «ложная память»?), вопреки своему детскому возрасту догадалась: они напечатаны отдельно не только потому, что выпадают из сюжета «Первого ученика». Они – совсем другого стиля, жанра (конечно, такие термины мне в голову не приходили, я о них понятия не имела). «Что-то не то, другое» – вот ощущение. И слова «кариатура», «символ», «типаж», которы-

ми я сегодня награждаю Швабрина из повести – тоже стали мне известны значительно позже. А вот одна самостоятельная, крамольная мысль, очень неопределенная, мелькнула: а совместимы другие отрицательные герои «Первого ученика» – например, Коля Амосов – под одной обложкой с этим новым, жалким, ничтожным Швабриным? (Опять не мои слова тех лет, даже не мысли, а чувства, мною владели.) Может, у Коли были тоже свои обстоятельства, формировавшие противный характер, толкавшие к гадким поступкам. Если его разглядывать под микроскопом, как Швабрина в альманахе. А не выписывать чёрной тушью?

Конечно, сегодня я потратила больше времени и слов, чтобы описать свои впечатления от рассказов Яковлева, чем думала о них в конце сорок первого. Но вот эти крохи, облачка оценок, сравнений действительно вспыхнули, промелькнули, царапнули...

Закончу же я описание моего эвакуационного читательского опыта рассказом о том, как, валяясь с мамой и бабушкой по полу Вологодского вокзала, я заболела тяжелой ангиной, и меня приютила уже пристроившаяся в частном жилье тётя Рива Гольдштейн, которая служила в том же госпитале. Проболела я под её присмотром недели две (кстати, по своей гражданской специальности Ревекка Юрьевна была педиатром). И как раз в эти дни к ней из Курганской эвакуации приехала её дочь Валюша, теперь уже десятиклассница, моя водительница-руководительница по хорошей литерату-

ре. Хотя её библиотека в это время, как большинство личных книжных собраний, была брошена в ростовской квартире, она и тут подсунула мне книгу, явно опережающую мой возраст: «Грач – птица весенняя» Мстиславского (главный герой – Николай Бауман). Которую я проглотила уже естественным для меня «залпом». Тем более окружённая комфортом «постельного режима», тёплой комнаты, почти нормального питания. Царская атмосфера для погружения в книгу. Да и трудной она мне не показалась после «Петра Первого» и «Великого Моурави».

Но главная фишка в том, что впервые в моей жизни чтение сопровождалось разговорами о книге, её герое, авторе. Валюша интересовалась моими впечатлениями, сообщала свои. В том числе критические. Так я узнала, что к тексту печатного произведения дозволено предъявлять претензии... Чудеса... Несколько лет спустя мое знакомство с Валюшей, тогда уже студенткой филфака, продолжилось в Москве, и она очень поспособствовала моему литературному развитию.

А теперь ещё один эпизод из наших эвакуационных одиссей, связанных с моим плаванием по книжному океану. Когда в марте сорок второго мы вернулись в Ростов, то в первое время приютились у моей двоюродной бабушки, которая жила с парализованным братом в крохотной комнатике на Станиславского («Старо-Почтовая», говорили моя бабушка, её сестра и брат). В собственной квартире мы поче-

му-то жить не могли (не работал водопровод? отопление? Какие-то неведомые мне психологические обстоятельства?) У бабы Лиды в десятиметровой каморке нас элементарно некуда было положить, и двоюродная бабушка разместила нас в двухкомнатной квартире своих соседей, которые, уезжая в эвакуацию, оставили ей ключ. Мы обращались с этим чужим жильем очень деликатно – только ночевали, а днём героически теснились впятером в законной комнатке. И всё-таки... и всё-таки... я не утерпела... И сунула свой нос в десяток книг, приютившихся на соседской этажерке. Всех досконально я не перечислю, а только те, которые прочла.

Первая в моей жизни книга Лидии Чарской. Какая же? «Тасино горе»? или «Сибирочка»? Неважно. Главное, что первая. Впервые встреченный мной жанр дореволюционной книги для детей. А именно – для девочек-подростков. Которые в ближайшие месяцы вдруг полезут из бабушкиных, тётушкиных сундуков, в своих ярко-синих и ярко-красных с золотом переплетах и, потеснив Гайдара, Кассиля и Пантелеева, станут безусловным брендом на несколько лет. Особенно после введения в сорок четвёртом отдельного обучения, когда к традиционному патриотически-пионерскому вихрю примешаются нравы, правила института благородных девиц.

Куда с большим интересом прочтала я тоже дореволюционную, но уже переводную книгу – «Великий император и маленький паж». Думаю, что в это время я уже была зара-

жена бонапартизмом, который потом развился во мне чрезвычайно. Но «потом» – понятно. От «Орлёнка» Ростана, от стихов Гейне, Беранже... А в сорок втором году?.. Наверное, «Воздушный корабль» Лермонтова (его стихами бабушка меня пичкала лет с пяти) имел одурманивающее действие даже в своих микроскопических дозах. И растрёпанная книга о Наполеоне прошла сквозь меня как по маслу. На автора я не взглянула. Да и содержание помню весьма смутно. Название его полностью исчерпывает. (Вот вам и автор – Э. Дюпюи. Снова из интернета.)

Но стояла (или лежала?) на этой этажерке книга, которая произвела революцию в моем сознании. Издание её было как раз послереволюционное. И я до сих пор не могу понять, почему её издали в советское время и с чего она оказалась у бабы Лидиных соседей? Это была фантастическая повесть Шамиссо «Приключения Петера Шлемиля». О человеке, потерявшем свою тень. Насквозь мистическая, насквозь пропитанная позднесредневековой философией, этой терпкой смесью христианства и язычества. Кто её читал до меня в этой безвкусной, мешанской, с претензией на буржуазность, квартире, с двумя пуфиками, с плюшевыми бомбошками на скатерти? С её владелицей я была знакома до войны. Она угощала меня шоколадной конфетой, выковыривая её длинными наманикюренными ногтями из коробки и приговаривала: «Ты таких никогда не ела. Настоящая «Южная ночь»! Мне конфета совершенно не понравилась. Ее фрук-

товая начинка абсолютно портила вкус шоколадной обливки. Еле удерживая угощение во рту, я выскочила на кухню и выплюнула «Южную ночь» в помойное ведро. Нет, эта тётка точно не стала бы читать эту замечательную историю Петера Шлемиля. (Так вот, оказывается, когда я догадалась, что у разных книг разные читатели. А у каждого читателя – свой круг чтения.) Шамиссо был «мой» автор. Повесть об утраченной тени в моей голове сразу закрубилась, спуталась с то ли ранее читанным, то ли собственными фантазиями. Наполнилась дополнительными персонажами, аналогичными ситуациями. К проданной тени присоединилось обменное на возвращающуюся монету отражение в зеркале. И другие неразменные пятаки. Но ведь ни андерсеновской «Тени», ни шварцевской, никаких Стругацких я тогда ещё не читала. А последние ещё ничего не успели написать. Значит, это просто мгновенная влюбленность в жанр, желание поучаствовать в сюжете, интуитивно уловленная возможность ремейка (это слово, да и понятие я узнала лет через пятнадцать, но угадала его смысл), от простеньких михалковских «Новых приключений Кота в сапогах» через шварцевские пьесы – к «Мастеру и Маргарите», к фантазмагориям Стругацких.

Теперь крошечное отступление от темы. Но все равно – в ту же копилку пятак. А может, и разменный рубль. В первый военный год, который пришелся на мой второй

класс, я посещала школу месяца три с половиной. В сентябре с пятое на десятое на фоне сборов в эвакуацию. И по возвращении из Вологды в конце марта – до двадцатого мая. Даже двух с половиной месяцев не набирается. Тем более полноценных. Третий мой класс попал, вернее мы попали, в немецкую оккупацию. Чуть больше месяца походила я в Ростове в немецкую школу (каким-то образом администрация оккупантов за этим следила). Потом два месяца посещала немецкую же школу в Ремонтном. И в городе, и в деревне на уроках занимались мы главным образом тем, что заклеивали в учебниках портреты и вычеркивали имена, а также якобы изучали немецкий язык (я за всё время запомнила одну фразу: «Анна унд Марта баден»). Так что настоящая учёба началась только с середины января, после возвращения наших. Значит, четыре месяца.

И, однако же, и второй, и третий класс я закончила на пятёрки или что-то вроде этого. Отчасти такие успехи можно объяснить тем, что вся программа третьего класса была скомкана, сокращена из-за оккупации и требования к нам предъявлены были весьма либеральные. Но во втором-то классе ростовские дети занимались полный год (за исключением одной недели), пока я разъезжала по стране Советов. Однако я от них не отстала. Скорее напротив. Читала с листа свободно любой текст. Сколько знала наизусть стихов! Могла пересказать самую толстую книгу. И пересказывала и «Принца и нищего», и сказки Оскара Уайльда,

и «Путешествие Нильса с дикими гусями». Да и собственные впечатления, которыми я успела обзавестись, спешила изложить... А какие-то отрывочные сведения из истории, географии, естествознания, которые были рассыпаны по «Петру Первому», «Великому Моурави», «Трём мушкетёрам», «Детям капитана Гранта», «Охотникам за микробами», как-то сами собой выстроились в стройную систему, более чем достаточную для начальной школы. Что касается арифметики, то складывать, вычитать, умножать и делить в столбик – несложная наука. Как, впрочем, и запоминание таблицы умножения. Отточенные чтением мозги, готовы впитывать любые знания.

*Диги-диги-диги-дон, доллárчик,
Прячься поскорее в ларчик!
Диги-диги-диги-дон,
Он сулит мильон!*

Глава V. Сплошные отступления

Едва вернувшись из эвакуации в Ростов, я кинулась разыскивать того самого «Уленшпигеля», которого мне пересказывала в теплушке Галя Воронина. Абсолютно не знаю – как и где нашла? Может, Елена Яковлевна тоже вернулась с дочкой домой? Чуть позже нас? Я ведь помню, как мы наносили им визит дружбы. Но в 42-м ли году? Или в 45—46-м, по окончании всех военных перипетий?

Но так или иначе, великую книгу я держала в руках уже во втором классе. Прочла не отрываясь. Вероятно, в ущерб какой-нибудь арифметике или чистописанию. И она на всю жизнь стала одним из краеугольных камней моего... не знаю чего?.. мировоззрения? мироощущения?.. «Время звенеть бокалами!», «Пепел Клааса стучит в мое сердце!», «Закричит петух и жаворонок отзовется...», «Слово солдата – золотое слово...» – эти афоризмы, эти фразы я если не употребляла, то помнила всегда. И как обрадовалась, когда встретила в стихах Багрицкого с Тилем, а в стихах Тихонова – с Неле. Я этих авторов полюбила двойной любовью – за их поэтический талант, но и за совпадение наших идеалов. А ведь я ещё не видела в 42-м году иллюстраций Кибрика к «Тилю». Когда же я этого великого художника открыла? И через «Уленшпигеля» он предо мной предстал? Или через «Кола Брюньона»? Сейчас посмотрим – какая из двух

издана раньше? На той самой полке для большеформатных книг. Не так-то легко удалось их высвободить. Вот они, наконец, передо мной... Какие некрасивые! Углы обтрепались!.. У «Кола Брюньона», более тонкого, легкого, даже погнулись. А большой портрет главного героя, которым на отдельной странице открывается книга, вообще выпадает и производит впечатление испугавшегося в жирной подливе.

«Тиль», одетый в более твердый, ярко-оранжевый, блестящий переплёт, выглядит приличнее. Но мне-то казалось, что обе книги, в которые я давно не заглядывала, являются украшением моей библиотеки, не только по содержанию, но и по внешнему виду. Я ведь помню, с каким восторгом, с каким вдохновением покупала (можно покупать с вдохновением? книгу – можно!) их в конце сороковых – начале пятидесятых годов у букинистов, как десятки раз перечитывала в школьные и студенческие времена и в первые годы сибирской жизни. Не только удовольствие получала, но и другим его доставляла (так мне казалось!). Как сейчас вижу: лето (ранняя осень? поздняя весна?), мы сидим с Ольгой Ермаковой на широком подоконнике открытого в задней комнате окна. Промеж нами кастрюля с вареной фасолью и жареным луком. На коленях у меня – громадная книжка. Я демонстрирую Ольге волшебный, неповторимый портрет Ласочки, а потом читаю почти наизусть историю романтической любви.

Дело происходит в классе, вероятно, девятом. Самое вре-

мя!

Но я ведь не только главу «Ласочка» читала. Я втюхала Ольке в конце концов всю книгу – от корки до корки. А она слушала внимательно. Теперь некого спросить: из интереса к Ромену Роллану или из уважения к нашей дружбе? Но что рисунками любовалась искренне – это точно. Ведь они были великолепны! И, кстати, разбавляли текст, когда Роллан и его герой слишком глубоко погружались в дебри эпикурейской философии. Которая уж точно Ольке была не нужна.

Зато лет пять спустя мне посчастливилось встретить благодарного слушателя монологов Брюньона. На четвёртом курсе в силу исторических обстоятельств нашему отделению определили читать «новую» (начиная с 1871 года) зарубежную литературу доцента Петелина, который прежде до «славян» не снисходил. И он же принимал у нас экзамен. Конечно, перед этим эрудированным, талантливым лектором мне хотелось отличиться. К экзаменационным победам я была, считай, готова. И благодаря лекциям самого Георгия Сергеевича. Как приятно было их слушать на законных основаниях, с правом задавать вопросы!.. А главное – потому, что все западные авторы, о которых Петелин нам рассказывал, были мною прочитаны до университета и во время, а некоторые даже не единожды. Был, правда, один-единственный провал в моей абсолютной осведомленности. Но очень серьёзный и безнадёжно неисправимый. Я не читала «Будденброков» Томаса Манна. А между тем Петелин оценивал эту книгу

как основополагающую в современной западной литературе. Судя по тому, что «Будденброки» ни разу даже на глаза мне не попались в ранней юности и совершенно безуспешны были мои поиски на протяжении четвёртого курса, их вообще в Советском Союзе то ли не успели, то ли не захотели издать. Я оказалась в зоне риска. А вдруг попадетсЯ роковой билет? Мои одноклассники в своих ответах добросовестно пересказывали умные и острые лекции Георгия Сергеевича. Но я так не умела – без знаний обстоятельств времени и места, без встречи с героями tête à tête. Да к тому же я и лекций Петелина (как и всех прочих) не писала. Зато (в отличие от многих других лекторов) слушала с упоением, воспринимая как некий волшебный ключик или луч прожектора к прочитанной, но не всегда разгаданной книге.

В предчувствии несчастного случая в те дни я бы и чей-то хороший конспект почитала. Но «хорошего» не находилось. И я пошла на экзамен в надежде на своего ангела-хранителя. Он не только не подвел, а даже перевыполнил заказ. Я вытащила наилучший из вероятных для меня билетов. Вот, кстати, очередное книжное приключение, мистическое совпадение. Мне попались «Неприятные пьесы» Бернарда Шоу, громадный однотомник которого уже несколько лет возглавлял верхнюю полку нашего книжного шкафа, и который я перечитала минимум трижды. А второй вопрос – о чудо! о радость! – был как раз о мастере из Кламси.

Мне даже обдумывать ответ не было нужды. Пережив вос-

торг удачи и предвкушения триумфа, я на следующие полчаса превратилась в зрителя и слушателя некоего скетча, который походил одновременно на студенческий капустник и на сценку из французской комедии. Исполняли его наш экзаменатор и моя однокурсница Н. Одним из вопросов её билета оказался «Инсургент» Жюля Валлеса. О содержании романа и его месте в истории французской литературы Н. рассказывала точно по её уловленному, понятому и записанному варианту лекций Петелина. Получился некий «сумбур вместо музыки». Георгий Сергеевич снисходительно его проглотил. Но чтобы увенчать старание студентки «четвёркой» («троек» на нашем отделении он не ставил, правда и «пятёрки» было всего несколько), был задан дополнительный вопрос, абсолютно дваждыдвачный:

– А кем был отец главного героя?

– «Мещанином во дворянстве» – отчеканила Н.

– Это его психологическая характеристика, давая которую автор использовал метафору Мольера. А кем он работал?..

Но как ни тужился, как ни изощрялся Петелин, как ни ставил вопросы («Чем он деньги зарабатывал? Какую должность занимал?»), Н. от «мещанина во дворянстве» никак не хотела уходить. В конце концов, Георгий Сергеевич отпустил ее восвояси с «четвёркой» в зачётке, сказав на прощанье: «Школьным учителем он был, школьным учителем», – и усмехнулся вслед.

С этим же насмешливо-скучающим выражением лица эк-

заменатор пригласил меня к столу. Для начала я, скрупулёзно, по косточкам, разобрала «неприятные пьесы» Шоу, заодно скользнув с явной осведомленностью и весьма уместно по «приятным». Главное же началось, когда я перешла к «Кола Брюньону». Я не только подробно рассказала об этом периоде творчества Роллана, не только отметила особенности, уникальность «Брюньона» на фоне остального массива его книг. Жанром, стилем, откровенной стилизацией, духом эпикурейства, гуманизмом я не просто восхищалась, давала им высокую оценку. Доказывая свое мнение, я декламировала страницами и мудрые афоризмы Кола, и его шутки. И хлесткие характеристики персонажей, и пейзажные картинки, принадлежащие якобы перу средневекового ремесленника, а в действительности – рафинированному интеллигенту двадцатого века. Испытывала же я при этом какую-то двойную, даже тройную радость.

Воспроизводя текст «Брюньона», я в который раз переживала вместе с героем все его радостные чувства (впрочем, и грустные – тоже, но всегда – высокие, благородные). Давая книге оценку, я наполнялась чисто читательским восторгом: вот, как и о чём, оказывается, можно писать! Вот, оказывается, как мне повезло, что мне выпала встреча с этой книгой; более того – она стоит в моем книжном шкафу. И, наконец, меня воодушевлял, согревал своим видом Петелин. Он прямо расцветал на глазах. Передо мной был не экзаменатор, не лектор, а... соучастник? сообщник? нет!.. сотоварищ?..

Наверное, подошло бы слово «combattant»?.. Да, да – однополчанин (и именно по-французски, раз речь идет о «Кола Брюньоне») армии профессиональных читателей. Который любит книгу так же беззаветно, как я, предан ей, как я. И даже превратил эту любовь и преданность в государственную службу, о чём я тоже мечтаю.

Может, я немного преувеличиваю, но Георгий Сергеевич, казалось, испытывал похожие чувства. И разрешил мне болтать в полное наше удовольствие. Поставил мне не просто «пятёрку», но с каким-то предисловием (или послесловием?). А в начале пятого курса предложил писать у него дипломную работу на тему русско-французских влияний. Такую сыграл роль «Кола Брюньон» в моей студенческой жизни. Впрочем, в моих отношениях с Петелиным были и предыстория, и продолжение. О них я расскажу в другом месте.

А сейчас ещё два слова об иллюстрациях Кибрика. Я ведь взялась рассматривать эти две главнейших книги моей юности. Sic! Они обе были изданы задолго до того, как попали мне в руки. «Кола Брюньон» – в тридцать шестом, а «Тиль Уленшпигель» – в тридцать восьмом годах. А над иллюстрациями Кибрик работал, скорее всего, в первой половине тридцатых годов, на подъёме общественного, творческого духа в СССР (возвращение Горького, Первый съезд писателей, расцвет издательского дела). Возрождение во Франции и Фландрии как бы переливалось им в советское Воз-

рождение (только публикация рисунков опоздала, и теперь они служили не подтверждением атмосферы, а её сокрытием, прикрытием). Но сейчас – не о ежовщине, а об этих конкретных книжках. Когда я их покупала в конце сороковых – начале пятидесятых годов, состояние их было отличное, безупречное. Почти новенькими попали они к букинистам из чьих-то хороших библиотек, лишившись сначала своих хозяев (то ли на фронте, то ли в подвалах ЧК), а потом отправленные в случайные руки их опростившимися (или очень нуждающимися?) наследниками. И вот такими – яркими, нарядными, брызжущими мыслями, чувствами, сохранились они в моей душе. А на деле оказались растрепанными от бессчётного перечитывания. А может, попали за семьдесят лет в какие-нибудь квартирные катастрофы, вроде потопа от соседей сверху? Надо попробовать привести их в порядок.

А сейчас сделаем шаг назад. Вернёмся в сорок второй год, в котором я раздобыла «Тилия Уленшпигеля». И двинулась дальше – в мир взрослых книг. Прежде всего, ревизовала наши домашние (судя по автографам – Юрия). Прочла повести Гоголя. Особенно задели, напугали даже, «Портрет» и «Страшная месть». Пушкинскую прозу проглотила без запинки. «Евгений Онегин» для девятилетней оказался скучноват. Зато «Маленькие трагедии» своей средневековостью очень совпали с «Уленшпигелем», «Петером Шлемилем», «Мушкетёрами». Из поэм с удовольствием читала «Цыган»,

«Полтаву», «Медного всадника», «Графа Нулина». И до запятых знакомую «Руслана и Людмилу». И все-таки больше я тянулась к лермонтовским стихам. Я уже не говорю о «Мцыри». Но и «Демон». И лирикой его я упивалась. Уже десятки шедевров знала наизусть: и «Ночевала тучка», «И скучно, и грустно», и «Выхожу один я на дорогу», и «Нет, я не Байрон...», и «Дары Терека»... Что странно: я так полюбила Уленшпигеля и Брюньона за их оптимизм, весёлое (именно весёлое) мужество, за фейерверк остроумия и выходок. А в поэзии Лермонтова меня привлекали именно мрачность, скепсис, ирония – все виды отрицания, гибнущие один за другим герои... Или это уже проклёвывался подросток, желающий ревизовать благополучную взрослую действительность. Я думаю, что мне бы и язвительный Печорин понравился. Не то что денди Онегин. Но прозы в бабушкином однотомнике не было. Может быть, я и докопалась до «Героя нашего времени», посещая усердно детскую библиотеку в конце второго класса. Но тут в нашей жизни всё перевернулось вверх ногами со второй оккупацией Ростова. Она произошла так внезапно и сопровождалась для нашей семьи такими трагическими подробностями, что думать, беспокоиться приходилось даже не о холоде-голоде, а тем более не об отсутствии книг для чтения, а единственно – о жизни и смерти. Впрочем, и здесь существовали индивидуальные особенности в жизни каждого члена маленького семейного коллектива. Мама была озабочена попытками уехать нам в какую-ни-

будь областную глушь, где никто не знал бы о бабушкином еврействе. Сама бабушка приготовила в тумбочке возле кровати морфий и шприц в стальной коробочке. (Где-то по сей день этот шприц в той же металлической коробочке, ещё из бабушкиных батумских запасов, хранится.)

А я, которая точно знала, что моих двоюродных дедушку и бабушку (к ней я была очень привязана) вместе с тысячами других евреев одиннадцатого августа убили в Змиевской балке, я, которую мама подробно инструктировала, что мне делать, пока эсэсовцы или полиция будут ломиться в дверь, а бабушка будет делать смертельный укол (из какого окна выпрыгивать и куда бежать) ... Я при этом, как и положено ребенку, проживала свою девятилетнюю жизнь, ходила в немецкую школу, съедала любые псевдоблюда, приготовленные хоть из куска убитой бомбой лошади, избегала во дворе встречи с Валькой Дудченко, которая неизменно приставала с вопросом: «Так твоя бабушка жидовка или нет?», и радовалась новой, совершенно ни на что не похожей дружбе с Никой Хрусталёвой, дочкой маминой сослуживицы по противочумному институту.

В этих отношениях двух девочек, которые можно считать важным узлом моего отрочества, высокой ступенькой формирования моего сознания были три решающих фактора: Ника была на два года меня старше (девять и одиннадцать – колоссальная разница, не то, что двадцать и двадцать два или даже семнадцать и девятнадцать) – раз; экстремальность ок-

купационной ситуации – два; а три – предмет, вокруг которого наша дружба завязалась, развилась, чем дышала и жила, были книги, чтение.

Опять целая приключенческая повесть о роли чтения в превращении ребёнка в человека. Оговоримся впрочем, что и в первых двух обстоятельствах нашего сближения книга присутствовала. В случае номер один моя отталкивающая «малышковость» при первом же непродолжительном общении была опровергнута. Ника небрежно спросила, какая у меня любимая книга, ожидая услышать что-нибудь вроде «Буратино» или в крайнем случае – «Приключений Тома Сойера». У меня же в эту секунду и ещё последующие пять-семь лет ответ был единственный. А вот Ника, как оказалось, «Тиля Уленшпигеля» не читала. Хотя всё-таки знала о его существовании. И уже следующим блестяще выдержанным мной экзаменом был пересказ романа Шарля де Костера. Причём без ложной скромности докладываю, что пересказала значительно подробней, чем делала это Галя Воронина в теплушке. Может быть, мой язык развязывало, мое воображение подстегивало желание понравиться этой взрослой девочке. А Галя в сорок первом просто заполняла наше общее пустое время. Конечно, в истории борьбы Фландрии за свою независимость я путалась, ни одной фамилии вождей этой борьбы, кроме Вильгельма Оранского, не помнила, протестантов немецких, голландских, французских свалила в одну кучу. Но вот казнь Клааса, пытки Соткин, по-

имку рыбака, разоблачение любовника Каталины, а также дерзкую выходку Тиля перед императором Карлом V я передала со всеми деталями.

После того как я предъявила свою «визитную карточку», Ника достала свои, весьма серьезные и необычные «козыри». В их довоенной домашней библиотеке хранились подшивки журнала «Вокруг света», не то конца двадцатых, не то начала тридцатых годов. с романами Беляева «Голова профессора Доуэля», «Властелин мира», «Человек-амфибия». Тёмно-коричневый цвет шрифтов и иллюстраций, выделявшийся на пожелтевшей, хрустящей бумаге (это всё было? или это моя фантазия?) и обнадёживающая в конце каждого номера фраза «Продолжение следует» придавали чтению «Вокруг света» совершенно особое ощущение.

Таковыми же экзотическими выглядели разрозненные книги из собрания сочинений Джека Лондона. Томами их назвать язык не поворачивается – они были без всяких переплетов. А кое-где и обложка оторвалась, потерялась. Тоже изданы задолго до войны. И читались, видимо, активно. Зато и цвет был такой же диковато-фиолетовый. А названия завлекательные «Смок Белью и Малыш», «Джон Ячменное Зерно», «Межзвёздный скиталец». Да ещё прилагалась к собранию сочинений биография Лондона, написанная его женой Чармиан. Вся же эта фиолетовая груда приключений, сегодня я думаю, была приложением к «Вокруг света». И всё это сокровище я проглотила за два месяца, до нашего бег-

ства в Ремонтное. А Нику тем временем оделила кроме пересказа «Тиля Уленшпигеля» и «Приключений Петера Шлемиля» томиком Оскара Уайльда, который её поразил, увлѣк так же, как меня Беляев и Джек Лондон, если не больше. Потому что в то время нас обеих тянуло не просто к чтению, а к чтению экзотическому, необычайному, надмирному. Объяснялось это не только нашим подростковым возрастом (я настаиваю на этом определении, ведь мы заметно обгоняли свое детство), но желанием с помощью книг компенсировать все потери, провалы нашей жизни в оккупированном Ростове. Ведь она была не только бедна, холодна и голодна, не только тревожна и опасна (про отсутствие игр, развлечений я не упоминаю, к этому мы за полтора года войны притерпелись, и даже не про отсутствие домашнего уюта и тепла – у матерей хватало времени и сил только на выживание).

А вот эту атмосферу будничной жизни, в которой однообразность, прерывалась шоком, трагедия перемежалась с пошлостью, нормальное с противоестественным. Мы, безусловно, этих определений не произносили. Но что жизнь наша – аномальна, понимали, чувствовали. И противостоять этим реалиям могли только экзотика Уайльда, фантастика Беляева, романтика Джека Лондона, героизм Тиля Уленшпигеля.

Следует сказать, что в сорок втором году встречи с Никуй длились всего два месяца... В конце октября оккупан-

ты, завершив холокост, покончив с цыганами, душевнобольными, военнопленными, вспомнили об эпидемиологической нестабильности Ростовской области... С помощью частично уцелевшей документации противочумного института разыскали всех не сумевших эвакуироваться микробиологов, эпидемиологов и развезли их по противочумным пунктам Ростовской области и Калмыкии.

Мать, которая тоже была «вычислена» и «мобилизована», укрываться не стала. Сама уже делала несколько неудачных попыток увезти нас из Ростова... (Бабушкина национальность!) А тут специалистов отправляли с семьями, в глухомань и казённым способом... Появился шанс уцелеть. Так мы оказались в райцентре Ремонтное, на юго-востоке области. Который по своему географическому положению был освобождён Красной армией на полтора месяца раньше Ростова...

Хотя донести об ущербности нашей генетики кто-то всё же (в Ростове?) постарался... Однако километры, плохой транспорт (даже железной дороги не было), а главное – перелом в ходе войны свою роль сыграли... А прожили в Ремонтном полтора года. Весьма своеобразных... И безусловно «книжных»... О которых следует рассказать.

Глава VI. «Наши» пришли, а «МОИ» пока не найдены

В нашей ремонтненской истории всё было парадоксально, перемешано, перепутано. Цель переезда в глушь – спасение от смерти, бегство от немцев... А между тем – официальная служба матери в противочумном пункте, открытом оккупационной администрацией. Заведующий пунктом – немец, военный врач, некий Лявен. Вот не удосужилась расспросить у матери в 70-е годы, кто он был по узкой специальности? Имел отношение к эпидемиологии, микробиологии? Во всяком случае – к нацистской идеологии отношения не имел, это даже я смогла заключить из нашего короткого знакомства. Он явно был рад выпасть из армейской службы и заняться мирным и полезным делом – противоэпидемиологическим.

Времени ему не хватило. Через два месяца началось контрнаступление Красной армии...

Ещё несколько слов о парадоксальности этой двухмесячной жизни. А как я её почувствовала? Подслушала ночные разговоры мамы с бабушкой? Или тревожность, ненадёжность просачивались в мою ничем не загруженную голову, душу?.. И Лявен этот странный... Которого мне по существу схеме полагалось ненавидеть и бояться. А он был совершенно не страшен. Жил с нами в одном доме. Подчёрк-

нуто любезно раскланивался с бабушкой. Со всеми служащими, включая санитарку и уборщицу. Совершил подробный осмотр всего противочумного пункта: вивария, большого сада, колодца, подсобных помещений. Потом (почему-то у нас в квартире) обсуждал с матерью и зоологом Дибровым срочность, очередность мероприятий. Самые обширные планы откладывал на весну. (Интересно, он верил в окончательность происшедшего? Или, наоборот, предполагал откат немцев? А предполагал?.. Или желал?..)

Получил письмо от жены (наверное, Дибров, ездивший в Зимовники, привёз почту) – принёс показать фотографии жены и детей. И какие-то затейливые открытки (рождественские?) с нарисованными зверушками, которые водят хоро-вод вокруг ёлки. Коверкая русские слова, объяснял мне, как изготовить из открыток украшения к Новому году. Кстати, я именно так и поступила полтора месяца спустя. Когда, готовясь в радостной суматохе к новогоднему застолью, счастливая, сияющая мама принесла мне от санитарки тёти Маши большой комнатный цветок в деревянном ящике:

– Вот тебе вместо ёлки. Праздновать так праздновать!

И в памяти слились в странном единстве: чудесное новогоднее освобождение, плохо обихоженный, запущенный, я бы сказала, не «комнатный», а «хатный» цветок, и глянцевые рождественские немецкие картинки.

Но это – 31 декабря. А в начала декабря у меня случилась жесточайшая ангина. С температурой сорок и выше.

Никакой аспири́н на неё не действовал. И Лявен принёс пластинку неизвестных тёмно-красных таблеток. Моих женщин восхитило, что они подействовали сразу (в смысле упавшей от первой же таблетки температуры), а меня больше всего удивил красный цвет горшечной жидкости. Это была наша первая в жизни встреча с красным стрептоцидом. Одним из сульфаниламидных препаратов, которые немецкая фирма «Байер» изобрела ещё до Первой мировой, но скрыла свой успех от международной общественности, потому что у неё были на складах громадные нереализованные запасы аспирина. И ещё четверть века человечество загибалось без сульфаниламидов от пневмонии и других стрептококковых болячек. Но, видимо, в конце тридцатых – начале сороковых тевтонские рыцари получили в дополнение к мечам Нибелунгов волшебные таблетки, но строго эксклюзивно, по выбору.

А ещё я помню (как будто я его слышала) рваный, возбуждённый разговор Лявена с другим немцем, Краузе. Тот, более высокий по чину (или по должности?), сопровождает группу заветинских (и ещё каких-то – элистинских? дивновских?) врачей, эпидемиологов, которых отступающие немцы забирают с собой. Во дворе нашего противочумного пункта в ночной тишине фыркают лошади, урчит машина. Совсем близко бухают снаряды – наши наступают. Краузе со своим обозом заехал за Лявеном и за нашей семьёй. Мать отказалась ехать, ссылаясь на болезнь ребёнка. Я действительно

ещё не встаю с постели. И разговор этот я действительно слышу. Но не понимаю. Зато при нём в соседней комнате присутствует мать. Которая хорошо знает немецкий, но никогда этого не обнаруживает. Лявен убеждает эсэсовца (на рукаве Краузе нашит знак «SS»):

– Девочка действительно больна. Температура сорок (хотя уже упала до $37,5^{\circ}$).

– Она всё врёт, – буйствует Краузе. – Есть сведения, она коммунистка, её мать – еврейка. Их надо сдать в комендатуру!

– Комендатура уже уехала! Если мы не последуем за нею сию же секунду, то попадём в плен, – уже на повышенных тонах разговаривает Лявен. Его реплику сопровождает ещё более близкий взрыв.

– Ничего, вернёмся – разберёмся, – кричит в сторону матери Краузе.

Весь этот разговор мама пересказала нам с бабушкой через сорок минут, когда телеги и автомобиль выехали с территории противочумного пункта под аккомпанемент учащающихся взрывов.

– Неужели могут вернуться? – прошептала бабушка. – Тогда...

– Замолчи! – крикнула мать.

К счастью, не вернулись. А ведь этот вариант не исключался: десятки населённых пунктов переходили во время войны из рук в руки. И тогда могли бы разобраться с посту-

пившими на нашу семью (от кого?) доносами. А вот с Лявеном и его «гнилым либерализмом» стали бы эсэсовцы «разбираться»? В девяностые годы, когда рухнула Берлинская стена, мелькнула у меня идея – разыскать его родственников в Германии, сказать «спасибо» за спасённую жизнь. Но до поступков дело не дошло.

Наши вошли в Ремонтное за два дня до Нового года. И было торжественное празднование с родными советскими военными врачами, которые доставили десятки раненных в боях за райцентр красноармейцев.

Но кроме застолья и тостов нахлынули будни, не менее необычные. В Ремонтном, кроме моей матери, не оказалось ни одного человека с высшим медицинским образованием. И её тут же назначили главврачом больницы, вернее – целого больничного комплекса, который находился недалеко от противочумного пункта, состоял из нескольких вполне добротных зданий, но уже второй год не функционировал. Раненых разместили военные медики и тут же совершили срочные операции, оказали первую помощь.

Мать моя оказанное ей доверие оправдала (она была прирождённым организатором). И средний медперсонал, и служащие были набраны. И помещения приведены в порядок. И транспорт (две линейки и две лошади) выбит. И конюхи и кучер их обслуживали. И мы переехали на жительство в «Больничный городок»... Там, кроме больничного и амбу-

латорного зданий, были и административно-хозяйственное и одно-два жилых – для персонала.

Нам отвели двухкомнатную квартиру с большим коридором и кухней. Наверное – полдома. И полтора года моей жизни были наполнены мамиными рассказами о всяких административных затруднениях... О срочных операциях детей, подорвавшихся на беспризорном снаряде. Моими посещениями раненых красноармейцев. Бабушкиными сообщениями о сложностях диагностирования. Она вышла на работу в амбулаторию фельдшером, и пациенты жаловались на своё недомогание так: «Пид грудями пэчэ, биля пуа крутэ, на колючки бэрэ».

И я во всём этом варила, слышала, участвовала. Хотя и косвенно. Но непрерывно. Даже когда через месяц-другой в Ремонтное приехали врачи с лечебным профилем – и на должность заведующей, и хирурга, и терапевта... А маму тут же утащили в райздрав районным эпидемиологом... Я время от времени ездила с ней летом сорок третьего года на полевые станы, в отдалённые хутора... инспекция, прививки. Та же линейка (или райздравовская?). Женщины с тёмно-серым степным загаром, с белыми, простоквашей намазанными лицами...

Но кроме этой больнично-медицинской ауры существовала действительность во всём её многообразии. После драматической атмосферы оккупации вернулась безопасная, мирная жизнь. Всё воспринималось со знаком «плюс» – и регу-

лярные школьные занятия по разумной, внятной программе для третьего класса. И состряпанные для меня какой-то местной умелицей тряпичные туфли на брезентовой подошве. И посылка из Москвы от отца с потрёпанной шинелью, пробитой пулей, из которой в открывшемся ремонтненском ателье мне сшили зимнее пальто. На воротник пошла замызганная цигейка с маминой ушанки времён Вологодского госпиталя. Я это пальто успешно носила чуть не четыре зимы. Даже в сорок шестом в Москве, когда оно уже моих колен не прикрывало. Но какое это всё имело значение? Кстати, в этой посылке оказались и настоящие туфли для меня – парусиновые, на резиновой подошве. Но магазинные! Я в них ходила, пока не выпал снег. И всю осень целый класс не спускал с меня горящих глаз (даже в рифму!).

А что после неурожайного лета сорок третьего года накрыл Ремонтное голод (да и, наверное, все освобождённые области, в которых сельское хозяйство было порушено войной), так это касалось абсолютно всех и как-то переживалось. Чай, не ленинградская блокада!

Зато в казённой квартире при больнице была у нас печка с хорошей тягой. А если угля не хватало, то подвозили «курай» и «буркун» (сухое «перекати-поле» и какие-то чёрные длинные стебли). Я их натаascaю из сарайчика, бабушка печку раскочегарит, и, глядишь – из прошлогодних отрубей какую-то болтушку сварит. А я уже в коптилку горячее неведомого происхождения подлила, фитилёк подправи-

ла... И с книжкой, которую взяла в библиотеке, мощусь... И в предвкушении неизвестного сюжета, почти забываешь о голоде, который ещё раз повторю, не был смертельным. Хотя магазины никакие не работали, а карточки до ремонтной глубинки не добрались.

К тому же некоторое время нас подкармливал яйцами собственный птичник – две утки и четыре курицы. Образовавшийся весной и летом сорок третьего года из «гоноرارов» (подношений?) пациентов. Которые мама и бабушка поначалу отвергали, а потом вынуждены были уступить. Потому что их излишняя щепетильность воспринималась или как высокомерие, или как признание в своей профессиональной некомпетентности.

Это я сегодня так внятно объясняю, определяю сельский компромисс между пациентами и медиками – при официальном бесплатном медобслуживании. Зато благодаря такому обычаю я хоть немного приобщалась к чисто деревенскому быту. Летом периодически водила уток на речку «поплавать». Заодно плавала сама.

А ещё в мае одна из куриц «заквохтала», села на яйца и вывела двадцать цыплят. Последнему, рябенькому, не хватило сил выбраться из скорлупы. И я его своими руками вылупливала, держала несколько дней в старой маминой ушанке, а потом неделю кормила отдельно от других рубленным яйцом. А осенью именно его досталось мне лишать жизни. Когда наступившая голодуха толкнула моих близких рас-

статься с птичником. Сначала с утками. Потом – с курами. И, наконец, до цыплят-подростков дошло. Но почему я оказалась в роли исполнителя? Тем более для моего подопечного? Скорее всего, мама была в командировке, а санитарка Маруся в очередной раз лежала в больнице. Бабушка же, заматанная своей амбулаторией и бытом, думала больше о моём пустом желудке, чем о моей детской психологии. А я до сих пор помню эту тонкую шейку под редкими пёрышками... Неудобную, грубую рукоять топора... Но суп ведь, наверное, ела?..

Случались и другие, бескровные, способы возникновения пищи... То из больничной кухни перепали нам какие-то остатки. То продали мои лыжи директору мясокомбината за 100 рублей и купили на эти деньги два литра кислого молока. То бабушкина пациентка, которой она вылечила нагноившийся порез, принесла маленький мешочек муки. То мама, ездившая в командировку в Ростов, привезла кулёчек манки и комочек маргарина. И стакан мёда, обернутый пергаментной бумажкой. А в школе ежедневно кормят какой-то баландой с обрывками капусты и тоже с чем-то, похожим на отруби. Жить можно!

Зато что мне сегодня досталось в библиотеке!.. Вот что важно! вот что окрашивало эти пятнадцать ремонтных месяцев разнообразными впечатлениями, делало осмысленной мою жизнь, смягчало, заслоняло все бытовые и психологические неприятности – библиотека. Между прочим, толь-

ко сегодня я могу правильно оценить её роль в ремонтненском существовании. Тогда всё нанизывалось на нитку будней по мере поступления, в чисто хронологическом порядке: утренняя суета сборов, торопливая, длинная дорога в школу. По большей части бесцветные уроки, перемежающиеся незначительными соприкосновениями с одноклассниками.

Друзья как-то не заводились. Это я тоже понимаю только теперь, когда вкусила сполна настоящих дружеских отношений. Тогда же довольствовалась поверхностным общением с большинством девочек и полным взаимным отторжением с мальчишками. и тем, что мне казалось дружбой с Любой Казыкиной. Которая единственная в классе жила рядом с «Больничным городком», и мне было с ней по пути домой, а ей было удобно приковылять к нам, чтобы списать у меня домашнее задание. А может, соединяло нас ещё то, что Люба «ковыляла». У неё была «конская стопа» (неправильное развитие ступни). Это определяло её какое-то безусловно второсортное место среди сверстников. И даже в собственной семье, где у неё имелись две старших сестры и младший брат, здоровые и полезные в хозяйстве.

Но ведь и я тоже была с изъяном. Причём более серьёзным. Не зря же на завелось у меня ни в третьем, ни в четвёртом классе подруг. Я даже ни одного имени-фамилии с достоверностью назвать не могу. Еля... Ливерко? Лида... Губина? Надя... Решетникова? Ни с какой внешностью не ассоциируется. Никаких разговоров... Эпизодов... Толь-

ко презрительное клеймо в мой адрес «паньска дивчина»... И дразнилка: «А мне мама гаварила, чтоб на „г“ я гаварила». Неужели моё более твёрдое «г» и некоторые городские привычки должны были так сильно раздражать, задевать? Но ведь и три года спустя в Москве одноклассницы за моей спиной, а то и в глаза хихикали. Теперь уже над излишне мягким для московского слуха «г».

Нет, было, было у меня в Ремонтном с одной девочкой взаимное притяжение! И имя-фамилию помню твёрдо – Валя Сенченко. И приятно округлое, ярко-румяное лицо. И очень чистые, до блеска, гладко причёсанные в коротенькие косы волосы. И самодельные, вырезанные из дерева коньки, на которых она с братом каталась по небольшому пруду и одалживала их мне. А я им – лыжи. Но это длилось недолго, пока мы жили в противочумном пункте, рядом с которым стояла их хата. И окончилось, когда мы переехали в «Больничный городок». А в единственной школе мы оказались в разных сменах. Валя была классом старше.

Но мир мой ведь школой не ограничивался. Бабушка, у которой в амбулатории был нормированный рабочий день, занималась хозяйством и одновременно рассказывала мне интересные истории из своего прошлого, не забывая при этом назидать и наставлять. Весь набор её афоризмов и заповедей отпечатался в моей голове навечно: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным», «Кому много дано, с того много и спросится», «Не кажі „гоп“, докі нэ перестрібнешь»,

«Рахиль красива, Сара богата, а я умна», «Tout va bien, que fini bien», «Для чистого всё чисто», «Дай бог нашему теляти вівка спійматі», «Pour être belle il faut souffrir», «Sans peur et sans reproche». Где она схватывала, отобрала и накопила эти и многие другие – русские, украинские, еврейские, французские пословицы и выражения? Последние, скорее всего, в доме Плеханова. И не от него, а от жены и дочерей. Одна из которых, гимназистка, на вопрос «Кем собираешься стать» отвечала – «La lettre». По-прежнему существовал этот наш обычай: она делает мелкую домашнюю работу, а я читаю вслух, для себя и для неё. Читаю, перечитываю, до последнего листика дочитываю все захваченные из Ростова книги (уже упоминала – до «Тихого Дона» добралась; впрочем, его точно не читала вслух – не тот объём).

Ещё одно было у меня занятие – самостоятельное изучение окружающей местности. Весной сорок третьего года, когда еда у нас ещё водилась, взяла я манеру подкармливать двух соседских собак остатками с нашего стола. Они меня поджидали, охотно съедали подношения. А потом стали сопровождать в прогулках, беготне, одиноких моих играх. Я уже имена им придумала. Поменьше, гладкошерстная, звалась Таксик (от слова «такса»?), а большой, чёрный, лохматый – Чижик (более симпатичному – более ласковое имя?). Он, между прочим, оказался Чижихой. Таксик пару месяцев за мной побегал, а потом то ли сам отстал, то ли хозяйева окоротили. А Чижик, который принадлежал санитарке

Марусе, переселился к нам окончательно, против чего Маруся не возражала, особенно когда с едой становилось всё хуже. Короче, событиями, действиями, мелкими происшествиями жизнь была наполнена. Но до тех пор, пока главная моя потребность – чтение – кое-как удовлетворялась.

Но вот все привезённые из Ростова книги были какие прочитаны, какие перечитаны. Правда, несколько раньше мама посоветовала побывать в палате с ранеными красноармейцами, почитать им вслух. Я охотно побежала. С однотомиком Маяковского, с Лермонтовым...

Встретили меня восторженно. Но благотворительно-просветительская деятельность продолжалась пару весенних месяцев. Красноармейцы поправились и пустились догонять, разыскивать свои части, прихватив с собой на сигарки бабушкиного Лермонтова (почему я знаю, что на курево? А с десятков страниц ещё оставались в палате для залежавшегося ампутанта). Но тут состоялось великое событие: мама принесла мне от назначенного из Москвы директора противочумного центра «Юность короля Генриха Четвёртого» Генриха Манна. Эта одновременно серьёзная, сложная, но и безумно занимательная книжка пробыла у нас больше месяца. Её и мои женщины прочитали. А я – так два раза. С некоторым перерывом. И второй раз – выборочно.

Ещё наметился было один источник литературы: в нашем классе появился с опозданием мальчик, Мишка Попов, тоже ростовчанин. Причём, его отец и моя мама где-то пере-

секались по работе до войны. Эта семья тоже пережила оккупацию. Но как-то по-другому, в другом месте. Мама нас с Мишкой познакомила. И я высмотрела в их доме две неизвестные мне книжки. Точно помню, что две. Одна – «взрослая». Но как называлась?.. Белое пятно... Это даже странно... Ведь каждый печатный листик в те дни был для меня на вес золота. Могу предположить, что только изданная «Тайна профессора Бураго» Николая Шпанова. Я ведь уверена, что именно в Ремонтном её читала... И в то же время – откуда она взялась?.. Концы с концами сходятся... Это был дебют великого конъюнктурщика, который в пятидесятые годы увлёк советского читателя своими «Поджигателями» и «Заговорщиками». И я эту явную халтуру зачем-то приобрела. Два гигантских тома по 800—900 страниц... Хотя уже каким-то вкусом обладала. Или ещё нет? или просто в азарте формирования библиотеки хватала всё подряд?

Итак, насчёт «Тайны профессора Бураго» я сомневаюсь. Зато вторую книжку помню со всех сторон. И длинное название: «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке». И имя-фамилию автора – Александр Введенский. Я с ним уже встречалась до войны в журналах «Еж» и «Чиж». И забавные рисунки (чьи?), стилизованные под руку ребёнка. А с каким неожиданным наслаждением поглощала я эти забавные истории... Хотя они были адресованы семи-восемилеткам. Однако любительница Генриха Манна не могла от них оторваться. Я уже объясняла где-то раньше – «по-

чему». Это заполнялись пропущенные по военным обстоятельствам ниши души и сознания, которые жаждали и этого доброго юмора, и этого легкого, изящного слога, и этой гармонии, которой была переполнена книга Введенского. и которых так не хватало вокруг меня. Я ведь уже рассказывала, что такие великие, талантливые детские книги, как «Винни-Пух», «Муми-тролли», сказки Каверина, «Хоббит», «Питер Пэн», «Орден Жёлтого Дятла», обнаруженные мною во взрослом возрасте, эту свою восполняющую функцию несли всегда успешно.

Но, к сожалению, дружеские отношения с Мишей Поповым и с его так и не изученной мною библиотекой быстро прекратились. Прочитав повесть «О девочке Маше...» (не уверена: перечитывала или нет? Скорее нет – так всё точно и ладно легло в душу), я принесла её в школу, вернуть хозяину. Мои совершенно естественные, банальные действия: достать книжку из своего... чего? не помню, что у меня было в Ремонтном? Портфель? Сумка? ...подойти к Мишиной парте и сказать: «Уже прочитала. Замечательная...» До слова «книжка» дело не дошло. Нас уже окружила толпа мальчишек во главе со своим атаманом, высоким, толстым Вовкой Свичкарём (наверное, просто мощным; толстым он казался на бесплотном фоне большинства школьников) и заулюлюкала, загалдела: «Тили-тили-тесто, жених и невеста, тесто засохло, а невеста сдохла, а жених заплакал и в штаны накакал...» И так – раз десять, вставляя в сти-

хи ещё какие-то неприличные реплика, смысл которых я поняла значительно позже. Мы оба были огорошены и повели себя совершенно по-дурачки. Миша сделал недоумевающее лицо и отстраняющий жест, и уткнулся в раскрытую тетрадь. Я прижимая книгу к груди, шагнула от его парты спиной. Меня пропустили, но вокруг Миши ещё погалдели.

Дальше – хуже. Вечером Миша пришёл ко мне за книжкой (риска встретить кого-нибудь из ребят не было – «Больничный городок» находился на отшибе. Мы поговорили об идиллических ремонтненских нравах и решили не афишировать наше внешкольное знакомство. К моему ужасу, уже поздно вечером, часа через два-три после Мишиного ухода бабушка обнаружила возле вешалки упавший на пол красивый большой тёплый шарф. Я сказала, что как-нибудь сообщу Мише о нашей находке, и он за ней придёт. Бабушка настаивала: «Смотри, какой мороз. Он же простудится без шарфа». Объяснить ситуацию почему-то было стыдно. Весь вечер, всё утро, всю дорогу в школу я изобретала выход из положения и уже ввиду школы нашла и, как мне показалось, великолепный. Метрах в пятнадцати от школьного крыльца кем-то зачем-то была насыпана куча соломы. Ребята разных классов, в том числе наши, каждую перемену устраивали в этой соломе... борьбу?.. бои?.. разминку после проклятых уроков? Мишу я тоже в этой куче-мале видела... По потребности? Или чтоб не отставать от коллектива? Эта солома навела меня на мысль. И, войдя в класс, я вынула, опять не помню

из чего, красивый длинный шарф. «Кто вчера потерял на соломенной куче? Я после уроков задержалась, шла мимо, споткнулась и увидела...» Я подняла руку с шарфом и многозначительно взглянула на Мишу. Он чуть шевельнулся корпусом в мою сторону.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.